

СИБИРИАДА

НИКОЛАЙ  
ЗАРУБИН

ДУХОВ ДЕНЬ



Сибиряда

Николай Зарубин  
**Духов день (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2017

УДК 821-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Зарубин Н. К.**

Духов день (сборник) / Н. К. Зарубин — «ВЕЧЕ»,  
2017 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-9161-4

Сборник произведений известного сибирского писателя Николая Капитоновича Зарубина включает в себя рассказы о простых людях, жителях городов и сёл, об их печалях и радостях, сложных характерах и затейливых судьбах, а также роман «Мокрый луг», повествующий о жизни крестьянской семьи Зарубиных из села Афанасьево. Действие романа протекает на фоне масштабных исторических событий начала и середины XX века. В памяти стареющей Настасьи оживают картины далекого и недавнего прошлого, перемежаясь заботами дня нынешнего. Мудрое сердце крестьянки помнит, любит, принимает всё: и людей, и домашнюю скотину, и дом, и саму землю, живущую своей особой загадочной жизнью.

УДК 821-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4444-9161-4

© Зарубин Н. К., 2017  
© ВЕЧЕ, 2017

## Содержание

Мокрый луг	6
Надюшкина наука	6
Капкина школа	10
Зарубинский колхоз	14
Рассказ Семёна	21
История Катерины	27
Свой угол	34
Юность Настасьи	40
Настасья и Устин	45
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# Николай Зарубин

## Духов день

Знак информационной продукции 12+

© Зарубин Н.К., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Мокрый луг

### Надюшкина наука

Лёгкая, после ещё совсем недавно закончившейся осенней пастьбы, дремала Майка в своём загоне, медленно, будто смакуя, перекатывая языком пахнущую луговым сеном жвачку. Сухого сена бросила в ясли хозяйка Катерина – ровно столько, чтобы не чувствовать голода и дожить до следующей порции. А там и с подойником явится, поднеся к Майкиным мокрым губам краюшку хлебца, чтобы та могла поначалу втянуть ноздрями этой хлебной сладости, потом уж дать втолкнуть себе в рот. Так происходит в её жизни который год, и который год слизывает она с хозяйкиной руки оставшиеся после краюшки малые крохи, вполне довольствуясь тем, что есть, и ничего более для себя не требуя. Потом хорошо чувствовать, как облегчается плоть от вызревшего внутри теплого молока, от сильных и умелых прикосновений рук Катерины, от сознания, что ты, корова Майка, часть этой семьи людей, в которую приняли тебя как родную лет восемь – нет, лет десять назад.

Майка дремлет на ногах, и ложиться ей не хочется. Да и с чего было пристать? С осенней жидкой травы ни веса, ни молока не нагуляешь – сберечь бы то, что скапливается в полупустом, мотающемся промеж ног вымени. Потому весь долгий, проведённый в стаде день грезилось корове ведро тёплой, сдобренной картофельными очистками водицы, за которым и чего другого перепало: ботвы свекольной, листа капустного, навильник сухого сенца.

Правда, в потайных кладовых её большого чрева, где-то подле самого сердца, уже вызревает, отягчая плоть, нечто, чему она пока не придаёт значения, но что со временем прибавит усталости, и надо будет чаще ложиться отдыхать. Это нечто станет её главной заботой, а потом и болью – пронзительно-нестерпимой и сладостной одновременно.

Телков Майка приносит каждый год – лобастых, настырных, норвящих дотянуться до сосков, но приходят хозяева и телка уносят, чтобы вернуть в стайку через несколько дней. Однако к матери его уже не пускают почитай до самой весны. А когда сходит с земли снег и яркое солнце начинает надоедать своими чересчур теплыми прикосновениями, однажды утром открывают калитку загона, и это означает только одно – можно идти на волю, к таким же, как и она, коровам.

Выгоняют и телка, следом за ним идёт, пощёлкивая бичиком, хозяйский сынишка – этот приставлен доглядывать, пока глупый ещё Майкин детёныш не попривыкнет ходить в стаде.

Время это особенно любо корове: разминая застоявшуюся кровь в ногах, передвигается Майка не спеша, с достоинством, но так, чтобы не отставать от себе подобных, иначе бока испробуют длинного пастухова бича. Нехитрая наука сия усвоена ею давно – с молодых лет. Да и обличье коровы – красное, с белыми пятнами – слишком заметно среди в подавляющем большинстве чёрно-пёстрых сородичей.

Молодость свою Майка почти не вспоминает – голодная и холодная была та молодость.

Народилась она от матери доброй, удойной, а вот хозяевам они достались никудышным. Бросят в ясли какой-никакой клок сена и – кормись целый день. Бывало, что и не бросят, потому как нечего бросать-то.

В ту памятную зиму и вовсе поставили на бескормицу – Майка как раз затяжелела вторым по счёту телком. Тряслись от голода ноги, промеж которых тряпицей висло пустое вымя.

И однажды, когда уже пропало невыразимо гнетущее чувство голода, а тощий живот, казалось, навсегда присох к костям позвоночника, явились две чужие женщины – старая и молодая. Старая молодую называла Катериной, молодая старую – теткой Надюшкой. Молодая стояла в сторонке, а старая оглядывала, ошупывала обеих коров – мать и дочь. Майка поняла,

что одну из них эти женщины собираются увести. И, собрав силы, она негромко и жалобно взмыкнула, будто хотела сказать, даже, может быть, крикнуть: «Заберите меня отсюда поскорее! Нет мочи терпеть бескормицу!»

– Катерина, – обратилась старая к молодой. – Берём красную. Ежели откормишь как надобно, то добрая будет тебе ведёрница, и тётку свою не раз помянешь добрым словом.

Тогда в своей короткой коровьей жизни она ещё ничего не знала о жизни людей. Не знала, что женщин к её прежним хозяевам привели две вещи – случай и нужда. У Катерины с мужем Капитоном и свекровью, бабкой Настасьей, были и корова, и вдосталь заготовленные на зиму корма. Но сломала ногу коровёнка, и пришлось забить её на мясо. Деньги за него выручили небольшие, а других в семье не водилось.

Совсем остаться без кормилицы означало перебиваться с хлеба на воду. И все бы ничего, да в семье помимо взрослых пара малых ребятешек – доченька и сыночек. Как с ними-то быть?

По деньгам смотреть – сытую да удоиную корову не купить, а такую вот отощавшую – в самый раз. И набросили верёвку на рога, и повели дорогой длинной, улицей широкой, мимо народа любопытного, на слова скорого, слова беспощадные.

Еле-еле тащились женщины со своей покупкой до места, где проживала молодая. А люди оглядывали Майку, щерились, одни провожали взглядами молча, другие отпускали шутки:

– И де вы таку собачонку отыскали?.. Гляди, верёвку порвёт да к помойкам убежит жир нагуливать...

Катерина отворачивала залитое краской лицо, тётка Надюшка материлась:

– Вот гады, таки-сяки, не мы ж с тобой, Катька, до такого срама довели коровёнку...

Посреди пути не выдержала, вырвала силой конец верёвки из рук племянницы и пошла передом, наказав той идти по другой стороне улицы, будто сама по себе.

– Иди, будто не знашь меня. С меня ж, старой, как с гуся вода. Пускай щерятся...

При своём небольшом росточке и столь же маленьком, собранном, будто в кулачок, личике тетка и впрямь могла дать отпор любому. Оторопь брала всякого, на кого взглядывала Надюшка своими не по росточку большими пронзительно-чёрными глазами, а уж ежели открывала рот – старались поскорее повернуться к ней спиной и уйти от греха подальше. И здесь всё дело было в голосе – низком и необычайно звучном, никоим образом не подходящем к тёткиной неказистой на вид женской конституции. Оттого, наверное, и считалась она колдовкой, могущей навести порчу на всякого, кто встал по какой-либо причине у нее поперёк дороги. И на людях Надюшка появлялась чаще в паре со своей горбатой от рождения дочерью Раисой, в просторечьи Горбушкой, имеющей напротив материнского голос тихий, с легкой хрипотцой, манеры обращения с людьми мягкие, даже вкрадчивые. Любила Надюшка выпить, но не допьяна. В такие минуты голос её обретал певучесть, доходящую до неприятной слуху приторной слащавости.

Но если сторонние люди могли только предполагать в ней способности к колдовству, то близкие о том ведали наверняка. Потому и было в родне её издавна заведено так, что никакая большая покупка, никакое большое дело не затевалось без участия в том Черепанихи, как про-меж собой называли Надюшку за глаза родственники. Дело же затевалось непременно через особое приглашение – прийти, обговорить, обсоветоваться, а уж потом и принять решение.

Для случая такого накрывался стол, на который загодя выставлялась зеленоватого цвета поллитровка, появление старухи окружалось особыми знаками внимания.

По своему значению корова для семьи могла сравняться только с крышей над головой. Крыша – это кров, тепло очага, обустройство быта, место, где обитает семья. Корова – это то, что определяет продовольственный достаток семьи. С молока и производных от него продуктов и сами хозяева розовощёки, и детки их растут как на дрожжах, и поросёнку какому можно плеснуть простоквашки или обрата, получив в итоге увесистого, полнотелого кабанчика, у коего сало – в ладонь. При корове в хозяйстве, как сказывали в старину, и коты ленивы, и псы

спесивы. При доброй же – тем паче: от такой-то на время запуска хозяйка и молочка наморозит, и маслица собьёт, и творожников налепит. А растелится, дак пир на весь мир. Водой льётся молоко в дому, не перестает гудеть сепаратор от частых перегонов.

Издавна в крестьянстве первостепенное значение придавалось искусству правильного выбора коровы при покупке. Трудно было не ошибиться, даже если перед тобой корова после третьего, пятого отёла, но еще трудней, если молодая или вовсе нетель.

Бывало даже, покупал сосед у соседа корову, которую хорошо знал не один год, приводил во двор, задавал корму как положено, являлась хозяйка с подошником, а молочка-то и нет. Приглашали прежнюю хозяйку, и та ничего не надаивала. Побьются-побьются и сведут на базар, где сбудут с рук долой за бесценок.

В чём тут дело? Ломал голову крестьянин, приглядывался и примечал неладное: на деревне ли, на селе непременно проживала своя «черепаниха». Если на момент сговора крутилась тут же или просто пробегала мимо усадьбы – отказывайся от сделки, выжди время, не торопись приобретать животину. Про иных даже передавали такое. Предположим, телится у кого-то коровёнка в стойке, а колдовке будто стук в дверь. И голос: «Мол, у такой-то во дворе корова телится, не припоздай...» Встаёт тогда такая-то «черепаниха» и торопится к избёнке, где ожидают приплода. Успеет ежели, то и телёнок потом квёл, и молока нет вволю, и не в корову корм.

Передавали и другое. Проживало будто на деревне, на селе ли сразу две таких-то «черепанихи». И стук в дверь был обеим, и голос слышался также обеим. Встают обе с постелей, торопятся к месту, и ежели наперёд успеает та, что с худыми намерениями, то корову со двора можно сводить хоть завтра, хоть немножко погодя. Но ежели опережала другая, то любые наговоры и наслания колдовские уже не имеют ни малейшей силы, а хозяйка получали и приплод добрый, и молока вволю, и корм животина поедала с удовольствием и пользой.

Но самое лучшее было ублажить такую-то. Дать чего с уважительностью, пригласить ли в дом попотчевать. В то время, о котором идёт речь в нашем повествовании, ещё придавали значение подобным тонкостям, а в доме Катерины право первого голоса безоговорочно было отдано Настасье – свекрови, от неё и услышала сноха однажды поутру следующее:

– Ты бы сходила к тётке своей Надюшке, пригласила к нам в дом для совету: може, она и подможет нам с покупкой коровёнки-то, а, Катерина? Сбегай, милая, уважь тётку-то. Сказывали мне, будто знат она толк-то в подобном дели. Ты ж понимаешь, нельзя нам ошибку допустить, нет у нас в дому лишних деньжонок-то...

Задала задачу невестке, а сама, едва прибравшись, побежала в Никольскую церковь, где долго стояла на коленках, просила Господа не обойти милостями своими семью её сына Капитона. Затем снова молилась, но уже пред иконками покровителей коров – святого Власия и Патриарха Иерусалимского Модеста.

К вечеру в доме был собран стол. Явились и Черепаниха с Раисой. Сидели, вели беседу. Черепаниха соловело напевала бабке:

– Я, сватьяшка, от мамыньки своей покойной усвоила эту науку. Умная была женщина, с норовом и своим порядком в душе. А та – от бабки своей, Милентьевны. Потом и сама кумекала-примечала. Будет вам с Катькой ведёрница. Не обижу я племянницу, одна она у меня здесь из сродственников-то...

У печки свою беседу вели две сродные сестрицы – Катерина с Горбушкой.

– Я, Катя, чего таскаюсь-то с маманей. Без тормозов она, знаешь. Не успеешь оглянуться, а её уже утащили – и рюмку в руки. И – запьянела. И – понесло её. Выступат тогда, мелет всякую ересь. Наутро мается с похмелья, меня гонит то за рассолом капустным, то бражки просит на опохмелку. А дом – стой. И всё на мне, всё на мне. Устала я от такой жизни.

– Да она ж вроде и немного выпиват-то, – возражала Катерина. – Не видела я её пьяной.

– Не видела и не увидишь. Не валятся она и не шататся. Только здоровья уж нет у мамани. Не дай бог, помрёт – чё я-то делать без неё буду?..

На другой день, пока племянница с тёткой ходили по указанному людьми адресу смотреть корову, маялась Настасья мукой нестерпимой, обо всём передумала, всё перебрала в памяти. И к окошку сунется, и за ворота выйдет, и делать чего почнёт, да не идёт в руки работа. И села на стульчик у печки, прижав спину к прогретым кирпичам.

Но вот вроде стукнула щеколда калитки, вот вроде говор послышался бабке, и встрепенулась, вскочила с табуретки, дёрнулась к окошку и – верно: растворяет невестка калитку, а в ней и Надюшка с концом веревки в руках. Накинула на плечи фуфайчонку, сунула ноги в обутки – и в двери, а там, в сенцах, и соль, приготовленная заранее, и пояс ременной, и водица, освященная в Никольской церкви.

Корова была уже во дворе, как раз напротив крылечка, с которого и ступила Настасья навстречу желанному. И, боже ж ты мой, обомлела-обмерла, только глянув на покупку: доходяга! Завыть восхотелось, мол, и де ж вы такую отыскивали доходягу-то... И какого ж молочка ожидать от такой коровёнки-то...

Всплеснула руками, отпрянула назад к крылечку.

– Будет тебе, сватья! – опередила бабкины причитания Надюшка. – Откормите, обиходите – и молочка обопьётся. Будет вам ведёрница – попомните тада тётку Черепаниху.

И будто сняла тяжесть с бабкиного сердца – вот уж, видно, не зря «колдовкой» обзывают Надюшку. Стерпела, не сказав ни слова, обделала всё, что положено в подобных случаях, когда обзаводятся люди коровой. Проводила в стайку, бросила в ясли клок сена, вернулась в дом за ведёрком с тёплой водицей, какую пришлось зачерпывать чашкой с отогнутыми краями и подносить к губам животины, чтобы отпила хоть сколько-нибудь. И так весь денёчек ныряла к коровёнке, оглаживала за шею, за отошавшие бока, шептала что-то, понуждая к кормёжке.

Помаленьку-потихоньку Майка стала тянуться и к сенцу, и к ведёрку с водицей. Прибегит Катерина с работы и первое, о чём слетит с языка, так это о Майке: как там наша коровёнка? И свекровь докладывает, мол, выправляется коровёнка-то, веселей глядит против прежнего.

И пошла Катерина с подойником к Майке. С превеликими сомнениями ожидала невестку Настасья, с неутешными мыслями в голове: «Что ж это будет?»

И – первые тонюсенькие струйки голубовато-белого молочка брызнули на доньшко ведёрка. И ещё брызнули. И погода чуток омыли закруглённые бока посудыны.

Вернулась в дом, бережно притворив за собой двери, молча подала ведёрко Настасье.

– Ну, Катерина, – произнесла та, глянув. – И впрямь будет у нас ведёрница. И никакая она не доходяга, а заморенная нерадивыми хозяевами животинка.

И опустилась у стола на лавку, закрыв ладошками сморщенное своё лицо. Рядом присела невестушка, обняла свекровь за плечи, и поплакали они вдосталь слезами светлыми и сладкими. За все лишения, что оставлены позади, за все горести, что ещё предстоят. И будто очистились-облегчились, как очищаются и облегчаются дождиком перегруженные хмарными тучами небеса.

## Капкина школа

С первого того гранёного стакана молока и стала Майка входить в свою коровью силу. На глазах пухло в размерах вымя, все звончее и сильнее ударялись струи молока о внутренности подойника. И вот уж спрятались под красной шкурой рёбра, выровнялась спина, прояснили Майкины глаза.

Повеселели и хозяева. С непокрытого клеёнкой, скобленного ножом стола в прихожей не сходило молоко. На жестяном листе в сенцах стыли сладкие творожники, там же на полочке стояла банка-другая густой сметаны.

Молодые хозяева и их детки пили молочка вволю. Старая Настасья заваривала крутой кирпичный чай в своей эмалированной кружке, в него добавляла когда молочка, когда сметанки, а когда и маслица. К чалдонскому<sup>1</sup> питью этому приучена была с юности ещё в доме родителей своих – Степана Фёдоровича и Натальи Прокопьевны, проживавших в селе Афанаеве, где и упокоили они свои косточки на недалнем сельском погосте.

Чаще, чем обычно, сидела теперь Настасья на излюбленном месте у печки, глядя по своему обыкновению куда-то вперёд и улыбаясь каким-то своим пробегающим в голове мыслям. Тихо и светло было на душе у бабки: малого просила она для себя, но многого желала своим единокровным домочадцам.

Избёнку имели они небольшую, старую, но тёплую. Внутри – две самодельные кровати: на одной спят Капитон с Катериной, на другой – она с внучкой. Малец пока болтается в подвешенной к потолку зыбке. Ещё – стол: крепкий, сработанный хозяином на совесть. И – тяжёлый, о чем лучше других в семье известно Катерине, так как ей приходится заниматься побелкой, а достать до потолков можно только с этого стола. Ну и лавки в количестве двух штук – их также между делом изготовил Капитон.

Печь похожа на сторожевую башню – огромная, занимающая четверть жилой половины и сложенная добрым печником на многие года вперед. Печь, понятно, русская, откуда всякую субботу бабка Настасья вынимает то какие-нибудь попекушки, то какие-нибудь ватрушки или калачики. Бывает, что и дюралевый чугунок, в котором томятся парёнки из брюквы – изделие сладкое, ведомое каждому уважающему себя крестьянину. А Настасья и есть крестьянка: крестьянского роду-племени, крестьянствовавшая в небольшом сельце, что недалеко от городка под названием Тулун, в котором нынче и проживает своей семьей при сыне Капке, невестке Катерине и внучатах.

Капка же её – глухонемой. Сызмальства без языка и слуха. Она со старшими, Петькой и Клашкой, в поле хлесталась, а Капка был один, брошенный в дому. Выполз на крылечко – и прохватило сентябрьским ветром. Думала, помрёт, как перемёрла до него четверня малолеток, но он выжил, и кто ж знает, на беду ли ей, матери, на беду ли собственную.

Когда уже начал входить в года, подсказали Настасье люди, что в далёком Иркутске есть для таковых-то школа и там будто бы грамоте учат, к ремеслу подвигают. Запали те слова в душу женщине, и повезла она Капку по железке в Иркутск, где сошли на вокзале, чтобы пойти туда, не знамо куда, искать то, не знамо что. Трое суток маялись, пока не указали люди адресок и не предстала крестьянская мать со своим чадом пред очи директора той чудной школы. А представ, упросила того человека взять на обучение её сыночка. И шесть годков минуло. И получил её Капка специальность фрезеровщика при заводе Куйбышева. И приехал домой в Тулун, где Капитонова специальность оказалась в большой чести.

Но что лучше всего, что полезней и благодней – проявились в сыне Настасьином черты специалиста вдумчивого, дотошного, трудящегося много и с удовольствием. И это было отме-

---

<sup>1</sup> Чалдоны – русские поселенцы в Сибири и их потомки.

чено начальством, уважено другими мастерами, разнесено языками по другим производствам. Стал Капитон перед большими советскими праздниками в порядке премии приносить в дом то отрез какой-никакой материи, то мешок какой-никакой крупы, то ещё чего. А однажды принёс в дом и поставил на стол лампу-восьмилинейку – с таким видом поставил, что сомлело сердечко Настасьино, и впервые, может быть, обозначилась в голове мыслишка: не за даром, знать, помучалась она с ним, помаялась. Не ушли её слёзыньки материнские в песок зыбучий. И пала на колени пред иконкой Святителя Иннокентия, забормотала молитвы, вкрапляя в них передуманное за многие годы и всё одно неслышимое сидящим теперь у стола сыном.

Видела, понимала, маялся Капка, как только оказывался без дела. Покудова были заняты руки, голова, покудова двигался, то ещё ничего себе. Но как только присаживался или приостанавливался, темнел лицом, призадумывался и нет-нет да вырывалось бессвязное, составленное из тех слов, что усвоил, затвердил, повторяя многожды в своих попытках прорвать темноту ненавистной немоты. Слова произносил на свой лад, коверкая, переставляя ударения, путая склонения, обрывая окончания.

– Плехо... Не слышу... – твердил. – Галява – у-у-у-у...

И крутил пальцем у высокого лба, что означало, видимо, какое-то особое состояние его мыслей, кои вращаются вокруг одной, заглавной, и эта заглавная пожирает все другие, не давая покоя голове, душе, телу.

Надо сказать, что сын помаленьку вырывался из своей немоты. Слов произносил всё больше и больше и многие так, как они и произносятся всеми нормальными людьми. Складывались предложения, даже законченные картины – короткие по количеству слов, но необычайно точные в описании предмета, событий, состояния душевного. Произносимые слова как бы закреплял маханием рук, мимикой лица, издаваемыми звуками, как это делают все глухонемые: раздувал щеки, выпучивал глаза, пыхтел, стремясь таким вот манером передать и чувства собственные, и движение, например, паровоза, и форму предметов, и состояние погоды. Ежели на душе у Капитона было хорошо, то гладил ладошкой по своей груди, сообщая выражению глаз предельную умильность. При изображении паровоза энергично двигал поочередно руками и пыхтел; сообщая о чем-то большом, разводил руки, будто собираясь кого-то обнять, округлял глаза и вытягивал вперёд губы; о ветре на улице также сообщал по-своему, раздувал щеки и прищуривал глаза, будто выдавливая скопившийся в груди воздух.

Сравнивала Настасья сына с другими глухонемыми, которых нередко приводил в дом, и примечала: обращаются они к нему, вроде как ребячьи к человеку взрослому – уважительно, глядя снизу вверх. А мужики приходили в годах, покрупнее фигурой, основательные в поведении. Примечала и дивилась: «Отчего бы такое?»

И соображала – учёностью берёт её Капка. До войны, в войну и после неё далеко не каждый заканчивал шесть классов и обычной-то школы, а глухонемые и вовсе расписывались крестиком. У Капитона к тому же за плечами было ФЗУ, а это уже почиталось образованием серьёзным, и в среде рабочих мало кто имел такое-то.

Опять же глухонемые перенимали язык свой друг от дружки, а иных и вовсе было не понять – бестолковое махание и мычание. Капка же своему языку обучался в специальной школе: в коробочке с документами хранилась карточка с азбукой, где изображалась рука, обозначающая разные буквы, из которых потом можно было сложить слова, какие-то названия, имена людей.

Накроет мать на стол, сядут вокруг него немтыри – и ну махать. Помашет-помашет один – и загопочут-затрясутся смехом сдавленным, каким-то вовсе невесёлым, потому как и посмеяться-то не умеют по-людски. Одно слово – безголосые немтыри. И вот уже другой замахал – и снова сдавленное мычание. А то вдруг заспорят, насупятся-набычатся и, кажется, вот-вот в драку полезут.

Всё у них не так и не эдак.

Глядит на них Настасья, глядит, и скатится слеза по щеке: так больно сожмётся сердечко в груди, так муторно станет на душе, что отдала бы, верно, и жизнь саму, чтобы не знать, не видеть сынка единокровного таким вот, Богом ушибленным.

Шесть дён ведь было Капке от роду, когда убили отца его, Семёна Петровича, в Тулунской тюрьме. Знакомый железнодорожник Иван Транькин принёс ту весть о смерти мужа. Как сейчас помнит Настасья пересказ о кончине Семёновой, каждое словечко запало-залегло в самую середку памяти. Взошёл в избу с заранее, ещё за порогом, снятой шапкой в руке. Остановился, переминаясь с ноги на ногу и хмуро глядя перед собой.

– Ну, говори, чего молчишь-то? – выкрикнула обомлевшая и опавшая телом несчастная женщина.

– Я вот чего, Настасья Степановна, – молвил хриплым голосом мужик. – Вот чего я-то сказать зашёл... Твой-то Семён Петрович помер сегодня в тюремной больнице в двенадцать часов ночи от побоев. Сильно били его колчаковцы цепями, все, видно, косточки измолотили. Кричал, сказывают, шибко перед кончиной-то...

Несколькими днями позже тот же Иван Транькин рассказал ей, что Семёна и ещё двоих мужиков охранники тюрьмы сбросили в яму вниз головами и, прежде чем зарыть, залили известью. Произошло это подле ограды старого Тулунского кладбища. А ещё позже показал и место захоронения. А уж откуда он про всё это прознал – не спрашивала.

О каком тут здоровье народившегося дитёнка и сказать-то можно после всей маяты её, после всех хождений и метаний вокруг тюремного высокого заплота в поисках хоть какой-нибудь щелки, хоть какого-нибудь знака, поданного с той, запретной, зазаплотной стороны, от муженька разлюбезного, Богом данного, но, как видно, бесталанного и потому без времени сгинувшего не своей – насильственной лютой смертушкой? Может, и не ветер сентябрьский виноват в немтырности Капкиной, ведь по малости дитёнка она и не успела услышать от него ни единого словечка?

Иной раз потопчется по избе старая Настасья, потопчется и сядет на своё излюбленное место у печки. Сядет и призадумается. И всколыхнётся-взбунтуется внутри её прошлое, которое не забыть, не отвести рукой, будто прядь давно поседевших, выбившихся из-под косынки волос.

Тосковала мать по находящемуся в чужой стороне сыну. Точила неотвязная мысль о том, что, может быть, и не надо было определять Капку в ту чудную школу в Иркутске. Терзала себя словами беспощадными, кляла за суровость и поспешность своего решения. С нетерпеливостью и мукой душевной ожидала окончания осенних страдных дел, чтобы по первому снежку протопать от Афанасьева до железнодорожного вокзала десятков верст, сесть в поезд и помчаться под его парами навстречу сыну.

А перед тем были сборы. Выменивала у кого из односельчан позажиточней добрый кусок сальца, прикладывала посвежее яичек, в погребке ожидала своего часа брусничка в глиняной посудине, в такой же – маслице сбитое, отдающее луговым разнотравьем. В самый канун поездки затевала большую стряпню, на которую была мастерица. Увязывала затем собранное в мешковину, прилаживала к ней лямки и выносила в сенцы до дня следующего. Ворочалась ночь без сна на родительской перине, что выделена была тятей и мамой в приданое, поднималась с постели засветло, растапливала печь, заваривала чай. А там садилась у небольшого окошечка, подперев ладошкой щеку, глядела в него невидящими глазами, грезила.

Не бывает большего счастья для женщины, чем выношенный под сердцем дитёнок. Чем первый его послеутробный крик. Чем первое произнесённое им слово. Чем первая его попытка подмочь родительнице.

Но и не бывает, наверное, большей беды для женщины, чем первое обнаружение матерью непоправимой калеченности этого дитёнка. Смириться с подобным, сжиться и свыкнуться она не может уже до конца своих дней. Потому и вся последующая жизнь таких матерей при таком-

то дитёнке, где безоговорочно принимает она на себя роль восполнения собой недостающего, недоданного природой ли, Создателем ли. И уже ничем не сбить ее с избранного пути: даже ежели принимает единожды какое-то поворотное решение, то исключительно во благо обойдённого Богом чада.

Вот и Настасья приняла такое решение, изматывая себя все шесть годков: а так ли надобно было поступить?

Капитон за эти шесть лет обратился в ладного парня. Бежит, бывало, по длинному крашеному коридору, улыбается во весь рот, запыхается, растопырит руки – и падает в объятия материны. Потом сядут они на лавку к большому окошку, гладит её щеки ладошками, трогает волосы, прижимается, выдавливает из себя отдельные слова, будто производит тяжёлую работу.

Привозит Настасья деньжонок, чтобы прикупить сыну какую-нибудь рубашонку, катанки новые – отпихивает Капитон обновы, маячит, мол, есть у него всё это, не надо, мол, мама...

И этому радуется мать: знать, понимает, как трудно ей приходится одной. Как изработалась, износилась, извелась в разлуке.

Однажды – на пятом ли, на шестом ли году пребывания Капитонова в той чудной школе – пригласил её к себе для разговора директор.

Вошла Настасья робко в довольно просторное помещение, где стоял большой красивый стол, шкаф с книгами, стулья гнутые, мягкие. Попросил присесть, и присела она на краешек указанного стула, глянула в глаза человеку средних лет, хорошо одетому, с приятной улыбкой на чисто выбритом лице.

– Я вот о чём хотел бы поговорить с вами, Настасья Степановна, – молвил негромко. – Я вспоминаю сейчас, каким вы привезли к нам сына своего, Капитона, и не могу не отметить смелости вашей, большой к нему материнской любви. Ведь далеко не всякая мать смогла бы найти к нам дорогу в большой город, а тем более – отдать его под попечительство чужих людей на долгих шесть лет. Признаться, принял я тогда решение о зачислении вашего сына с большими сомнениями. У нас ведь в интернате в основном дети жителей Иркутска. Из сельской местности – единицы. И какое же было моё удивление, когда мальчик ваш спустя какое-то время стал показывать незаурядные способности к учебе...

Настасья не понимала, что означает это слово – «незаурядные». Она только чувствовала, полагаясь на теплоту в голосе, с какой говорил этот человек, что слово хорошее. Что хочет он сказать ей нечто особенное, чего и ей самой, может быть, кто-то давно должен был сказать, да некому было.

Она напряглась, готовая слушать далё, наклонилась вперед, застыла всеми членами тела и вдруг, к ужасу своему, осознала, что плачет – молча, без слёз и звуков, истекая внутри себя то ли слезой солёной, то ли кровью алой.

– Да успокойтесь вы, уважаемая Настасья Степановна, – видно, понял её состояние этот добрый человек. – Я ведь ничего плохого о вашем сыне не говорю. Скорее наоборот. Капитон ваш, будь он, как мы с вами, и слышащим и говорящим, многого мог бы, по-моему мнению, достичь в жизни, если, конечно, для того сложились бы благоприятные условия.

И закончил даже с некоторой торжественностью в голосе:

– Ваш Капитон, если хотите, в школе нашей один из первых воспитанников. Он хорошо усваивает материал, прекрасно овладевает ремеслом на заводе имени Куйбышева и будет, надеюсь, востребован как специалист. Всё это, я думаю, поможет ему занять достойное место в обществе и не так остро ощущать свой природный недостаток. И вам как матери будет спокойней за его судьбу.

«Во-от как, – обозначилось в её мозгу. – Знать, Господь меня, грешную, надоумил... Нет, есть Бог на свете. Е-есть».

## Зарубинский колхоз

Другая беда оказалась еще неисполнимей: взрослому мужику нужна хозяйка в доме. А где ж её сыщешь?

Приводил себе усладу: поначалу одну немужку, затем другую. Да не ужился, чему Настасья была искренне рада, так как первая оказалась воровкой, вторая – все одно что без рук: за что ни возьмётся – ничего не умеет делать. Отвалились и – слава богу.

Бог-то, видно, и надоумил обратиться к родному племяннику Косте, по прозвищу «Маленький», с просьбой подыскать Капитону подходящую для жизни женщину. Этот, среди сродственников самый кипучий пройдоха, в каждую щель проползёт. И надыбал же Костя в недалёкой от Тулуна деревеньке Заусаеве молодайку из большой и бедной семьи. Как сговаривал, неведомо было Настасье, но повёз Капку на смотрины. В другой раз уже Капка и сам с охотой попёрся. И ещё поехали, тут уж сынок отрез материи с собой прихватил, что дали на производстве в виде премии к очередному празднику. И заладил: прибежит с работы, переоденется – и в Заусаево. Так, верно, с месяц было. Потом и маячит матери, мол, сегодня приведу тебе невестку.

Часу эдак в восьмом стучатся.

«Ну, – забеспокоилась мать, – привёл кого, что ли? Шибко уж Сыщик рвётся с цепи...»

Пошла, открыла засов. Вошли в дом: Капка-то передом, молодайка за ним, эдак бочком через порог переступила.

Глянула – и обомлела, батюшки святы! На молодой-то юбчонка – портяная, с заплатами напротив коленок. Вот уж послал Господь оборванку!

Погодя стала приглядываться уже спокойней и не столь придирчиво. Молодая и телом крепка, и лицом ладна. Сидит на краешке табуретки – ни жива ни мертва. Краска – в обе щеки.

Это вот Настасье шибко понравилось, сама завела разговор с нею.

Спросит об чём, та – слово иль два в ответ и молчит. Спросит и опять та же волянка. И не выдержала:

– Ты чё это, милая, без языка али с языком во рте?

– С языком, – отвечает.

– Ну дак чё помалкивашь-то, сказать неча?

– А чё говорить...

– Кто такая, откудова, из каковской семьи, чё делать умеешь?

– Катерина я...

– Катерина дак Катерина. У меня племянницу, Кости Маленького жену, так же прозывают.

И подбодрила:

– Ты уж без хитростей: понимаю, что неспроста за немужку нацелилась идти замуж. Я его хвалить не буду, но и в обиду не дам, потому как Богом обижен. Ведаю и то, что и характер у него не сахар. Но работник он добрый, и ежели ему подстать хозяйку, то жить можно не хуже людей. А к тебе, вижу, присох, раз каждый день по столь вёрст бегал до твоей деревеньки, как полоумный. И я не злодейка какая-нибудь, ко мне с добром, дак и я тем же отвечу: и подмогну, и утешу, и прикрою, ежели в том случится нужда. Капке-то не всё знать полагается, а во мне, как в могиле.

И закончила:

– Раз уж явилась своей волей, то давай поладим и вместе покумекам, как нам жить-поживать да добра наживать.

Катерина в работе оказалась подлинно ломовой лошадей. Быстренько выправила паспорт. Устроилась на работу на нефтяную базу заправщицей масел. Работа такая ей по нутру

оказалась – всю войну ведь мантулила на тракторе-газгенераторе и в маслах, понятно, кое-чего смыслила.

Прибежит и – в стайку, на огород, на покос. И всё у неё в руках горит, будто метла метёт. Выбелила избёнку. Вычистила, выскоблила все углы, отмыла окошки, отскоблила стол, скамейки, разогнала кипятком тараканов, которых в избёнке наплодилась прорва, ведь бабке-то с ними не сладить. И всё в самые первые дни их совместного проживания с Капитоном. Настасье это понравилось. И решила про себя старая: нет, такую-то невестку от себя отпускать нельзя.

И Катерина поняла, может, и почуяла бабьим своим нутром, что в свекрови нашла и защитницу, и утешительницу, и советчицу, ежели в том возникнет надобность. И надобность возникала, не могла не возникать, ведь наново строилась-созидалась семья трудящихся людей, где каждый несёт свою меру ответственности друг перед дружкой, а заодно и перед сродственниками, соседями, перед всем честным миром. Потому что так на свете этом поставлено, так устроено и слажено-сотворено самым верхним, стоящим над всеми Создателем.

И покатались деньки под гору, будто саночки, изогнутые кренделем. Освоилась в новой роли Катерина, а Капка и вовсе не отпускал её от себя, когда были оба в доме. Старался, что-то мастерил, сучил дратву, подшивал валенки, стучал молотком во дворе.

В праздники ходили в гости к кому-нибудь из родни. К себе приглашали. Родне Настасьиной Катерина также понравилась. Даже удивление выказывали: и где это Капитон такую молодайку подыскал?..

Удивительным было и то, что каким-то только ей ведомым образом, сошлась Катерина и с закадычными друзьями мужа – глухонемыми Колей Смоляком, Володей Шиловым, Толей Сапожниковым. Сошлась и с их глухонемыми жёнами – Марусей, Клавой и Раей. Сойдутся друзья в доме, машут руками, усевшись вокруг стола, а она с немужками пристроится. И они ей чего-нибудь балакают – машут руками и мычат по-своему.

За происходящим наблюдает Настасья и тоже дивится: понимает невестка немужек, нет ли? Вроде головой кивает, что-то пытается отвечать, а те отвечают ей.

«Я-от сколь лет живу при Капке и ничегошеньки не понимаю, – думает бабка. – А эта надо же: без году неделя, а к ним уж приносовилась. С немтырями речь ведёт, будто сама немужка».

– Ты, Катя, прикидываешься аль впрямь язык немых понимаешь? – спросила как-то.

– Я, мама, и сама не знаю, отчего это у меня, – отозвалась та по простоте душевной. – Может, от того, что в войну с трактора-то не вылазили. А он тарыхтит, гудит, чадит, и, бывало, чё-то сказать надо было друг дружке, вот на пальцах и показываю. Уж потом встретимся и будто век не видались – наговоримся вдосталь.

– Так-так-так, – тянула своё свекровь. – А я-то, дура старая, сижу тут в своём угле и гадаю: с чего бы это? Вроде недавно в доме, а будто давно. Я-от и родила его, а ничё не пойму: махат-махат, а чё махат?..

Так Настасья толковала невестке, про себя соображая другое: ко двору пришлась Катерина. Душевная. Всем хочет угодить. Даже немужкам этим. Но не приспособленка. Нет в ней ни хитрости, ни корысти. Простодырая. Натерпелась, знать, и бедности, и работы лошадиной на дядю чужого. И одинокости. Своего собственного восхотелось – пусть и некорыстного, но своего.

Понять подобное немудрено, и Настасья понимала. Сама намоталась по чужим углам. Сама хлебнула мурцовки. Сама изработанная, изъезженная, как тот конь Савраска, которого пришлось свести в колхоз. Последнего от хозяйства, нажитого с муженьком.

Настасья на своей тумбочке будто прозревает всю свою прошлую жизнь. В такие, ставшие нередкими, минуты она отдаляется от хлопот по скотине, от топтания в кути, от всего, что во дворе за окошком, останавливая свой полуслепой взгляд исключительно на ребятне – не залезли бы куда да чего не понаделали. До мелочей, до отдельно обронённых слов припоминает Настасья своё прошлое. И ежели б спросить, в тягость али в сладость ей те наново переживаете-

мые мгновения – не сказала бы ничего вразумительного. Ведь это была её жизнь: с мужем и без одного, с прибавляющимися в семействе ребятишками и с потерями невосполнимыми, когда те умирали. С дырами и прорехами, бедами малыми и бедами большими.

А у крестьянина, известно, все беды и радости со скотиной связаны. Потому помнит Настасья каждую коровёнку, каждую лошадёнку, курёнка, поросёнка, ягнёнка. И вот кажется ей: закрой глаза (что бабка иной раз и проделывает) – и пред внутренним взором твоим чередом пройдёт вся, какая ни была в жизни, скотинка-животинка. И с каждой связана какая-то история: грустная ли, вовсе ли печальная, может, и совсем трагическая. Сердце женщины-крестьянки прикипает ко всякой – за каждой ходила, каждую оглаживала, на каждую молилась.

Вот и с конём Саврасым своя история связана.

Явился закадычный дружка муженька Ларион Белов и говорит:

– Сбываются предсказания твоего Семёна – царствие ему небесное. Колхоз организуем. Тебе как вдове пламенного революцанера первой надобно пример подать. Давай в колхоз твоего Саврасого, весь скот, всех лошадей будем стгонять в одну общую кучу, чтоб всем миром трудиться на благо новага сацалистического общества.

– Взнуздывай, – обронила Настасья глухо. – Всё одно, горлопаны, отымете...

Крякнул Ларион, потоптался у порога, добавил:

– Я, Настя, буду стоять на том, чтоб колхоз назвали именем Семёна.

– А мне всё одно – хоть горшком, тока меня боле не тревожьте.

И – назвали. Правда, горлопанили долго, благо не подрались. А могли бы. Председателем выбрали Лариона.

– Ты, паря, был нашему Сёмке самым ближним дружкой, значица, много чего от него перенял и со слов, и из книжек, да и грамоту знашь. Вот и правь.

Ларион и правда не отставал от Семёна, слушал, спрашивал, кое-как обучился от приятеля складывать в слова печатные буквы, осиливая порой до страницы непонятного ему текста в тех книжках, какие давал на некоторое время свой доморощенный Афанасьевский «революцанер». Пытался в отсутствие одного и сам проповедовать, но Лариона крестьяне уже слушали в полуха, потому как Белов только пытался повторить слышимое им от Зарубина. Да и какой, к ляду, грамотей из Лариошки, ежели из Афанасьева в своей жизни выезжал только до Тулунского базара и назад, в деревню? Неоткуда было взяться ни знанию, ни уму – про то кумекали уже промеж собой. Но другого не имелось, кого можно было бы назвать председателем. Этот хоть, может, не пропёт обобществлённое, в трудах нажитое добро, ведь новая большевистская власть иного выбора никому из них не оставила: не отдашь – придут и отнимут силой.

На первое, общее уже колхозное собрание, назначенное в предоставленном ещё при Колчаке афанасьевским богатеём Демьяном Котовым и оборудованном в сельскую избу обширном амбаре, притащились даже слепые и глухие старухи. Против своей воли, больше с чувством стыда, чем неловкости, пошла на то собрание и Настасья – её накануне особым манером пригласил Ларион, принарядившийся, обутый в хромовые, промазанные дёгтем сапоги, значительный и, верно, довольный своим новым званием председателя.

Не нравилось ей и то, что Ларион в своей речи то и дело кивал, будто приглашая в свидетели, на готовую провалиться сквозь землю вдову.

– Мы с вами, уважаемые поселыщики, будем ныне жить иным, большевистским, порядком, – разглагольствовал Лариошка. – Её вот, Настасья Степановны, супруг сложил в Тулунской тюрьме за этот порядок свою голову и нам всем велел собрать под единую обобществлённую крышу и коровёнок, и лошадёнок, и может, даже хохлатых курёнков, коли возникнет в том нужда.

– На курёнках-то пахать, что ль, будем, а косачи будут у их надсмотрщиками?.. – донеслось из толпы собравшихся крестьян.

– Может, и так, – не потерялся Лариошка. – Мужеское косачье дело в том и состоит...

– Значица, тока бабы будут робить в колхозе, а нам, мужикам, в красных рубахах над ими стоять с бичиками в руках и похлёстывать по их широким спинам, чтоб не ленились? – продолжал доставать за живое всё тот же исполняющий роль остролова Тимка Дрянных.

– Так-так, бабы у нас двужилые, – посмеивались в бороды одни.

– Сдю-ужат... – поворачивались, будто примериваясь, к тут же сидящим своим половинкам другие.

– Вот тебя, Тимофей, над косачьим племенем и поставим, а с бабами ихние мужья управятся, – нашёлся что сказать и Ларион Белов, понимая, что так-то и собрание сорвать недолго.

– Ну-ну, по-оглядим...

– Гляди, да не прогляди, а то не пришлось бы в кутузке свой век доглядывать. – Это уже сказал со своего места уважаемый в Афанасьеве крестьянин Павел Долгих, сродный брат Настасьи, который избирался посельщиками на съезд Советов, проходивший в Тулуне в 1922 году, и потому считающийся подкованным политически. Не торопясь прошёл к столу, накрытому красной тряпичей.

– Ларион Фролыч не для того нами избран председателем, чтоб над им пересмешничать. А пересмешничать над председателем – всё одно что над советской властью. Большевики идут по правильному рабоче-крестьянскому пути и колхоз – наше общее спасение от разрухи и от таких вот... (хотел сказать «кровососов», да воздержался) вроде Тимки. Хозяйствовать прежним манером, единолично уже никто не даст, так что давайте ближе к делу. Жись меняется, и от её правды нам с вами, посельщики, уж никуда не деться.

И далее, в немногих словах, представил свои соображения. Бригады в колхозе должно быть две – одна занимается выращиванием зерна и кормов, другая ходит за скотиной. Комсомольцы организуют на деревне разные «кумпании» вроде антирелигиозной, а в целом, чтобы полегче и веселее протекала жизнь молодежи, потому как молодежь и нарастающая в каждом доме ребятня полной грудью и новым революционным сознанием впитали в себя дух государства Советов.

Собрание закончилось тем, что избрали наиболее настырных активистов, кои и должны были под председательством Лариона Белова определить всю дальнейшую линию колхозного хозяйствования.

Глядела на всё это и Настасья, слушала и думала свою думу.

С ума сошёл народишко-то. Слетел с катушек. То в одну крайность кинется, то в другую. За годы Гражданской войны и вслед за нею НЭПа поля стали зарастать березняком. Тятенькины, что располагались на Угорье, и те взялись дерновиной, примялись от времени, от беспризорья и разлада людского. Беспризорья бездельного, богопротивного, ни в кои веки крестьянину не свойственного.

Крестьянин-то во все времена хлебопашествовал. Били людишки друг дружку, хлестали почём зря, проливали кровушку свою алую, но крестьянин землю обихаживать не переставал. На лошадёнках, на быках, на коровёнках, а то и на себе тащил сошку-то, а землю поднимал и задавал ей работу извечную – хлебушек растить. И питала она соками своими зёрнышки, возвращала ржаные колосья, поднимала выше к солнышку головками, и разрешались те колосья другими зёрнышками, кои срезал человек в снопы упругие, увесистые, высушивал, обмолачивал и заполнял сусеки амбарные тем хлебушком, а от того хлебушка внове плодилась и множилась жизнь на свете.

Немудрёную крестьянскую ту задачу Настасья усвоила ещё девчонкой в доме родительском, потому и поглядывала с превеликими сомнениями на копошение Афанасьевских горлопанов вроде Лариошки Белова, палившего глаза на её муженька разлюбезного, когда тот в кругу мужиков сказки сказывал про жизнь райскую, обобществлённую...

Но жизнь действительно менялась. Это Настасья видела и по своим входящим в года Петьке и Клашке. Петька бредил комсомольскими починами. Крепкий, коренастый телом,

настырный характером, воротил в дому за взрослого мужика, а как только выдавалась минута, бежал сломя голову в сельскую избу, где собиралась деревенская молодежь и горлопанила почище, чем Лариошка со своими активистами.

Клашка вовсю, на виду у деревенских, хороводилась с Тимофеем Травниковым – мужиком уже зрелым, но не женатым, понюхавшим пороху в германскую войну. С этой и вовсе не было сладу: чуть что, так и норвила скользнуть за дверь на свиданку с разлюбезным. И ругала её Настасья, и «халдой» обзывала, но толку не добила. И отступилась, обронив как-то в сердцах:

– На кривую дороженьку вступила, доченька моя ненаглядная. Не так-то девке надобно себя блюсти. Не та-ак... Не вешаться на шею взрослому мужику, а тихохонько дожидаться своего счастья. Работать, матери подмогать, Богу молиться. Да за такое-то поведение тятенька мой семь шкур бы спустил с тебя, с халды. Э-эх, нет на вас отца – сгинул в тартарары ни за грош, ни за понюх табаку...

Не по сердцу было и занятие Тимофеево – охота. Придёт зима, и он – в тайгу. Бродит там два-три месяца, чего-то добудет, а выйдет из лесу и – продаст добытое. Потом лодыря гоняет. Не по-христиански это. Мужик должен трудиться – в поле, на покосе, во дворе, а этот... Тьфу, прости господи...

Не занозой саднящей – жердью вострой сидела в женщине память об рано погибшем муже. Семьёю обзаведшемся, но мало жившем с семьёй-то – с женой любящей, детками единокровными. Павшем, обильно полившем землю дождём, напитавшим до времени покоившиеся в ней сухие зёрна иной, незнакомой прежде жизни. Жизни сторонней. Не нужной ни ей самой, ни её деткам. И прошла мимо ума и сердца Настасьиною правда, за которую и сложил без времени свою бесталанную головушку. Во-он сколь всего наворотили последыши политики Семёновой. Коммунии, колхозы и что-то ещё будет впереди, с чем и посреди чего доживать ей свой вдовый век. Горло дерут на сходах, толкают наперёд себя разных активистов, а крестьянствовать будто бы и разучились напрочь. За что ни возьмутся, всё через пень-колоду. Обобществили скотину, лошадей, собрали с народа прицепной инвентарь. Радовались показно, да загубили и скот, и лошадей, а инвентарь годами гнил на обобществлённом дворе. Благо крестьяне хоть по одной коровёнке оставили себе на проживание, с них и огребали в виде налогов то молоко, то маслице, то ещё чего. И попробуй не снеси в положенный срок – пойдёшь арестантом по Московскому тракту иль повезут тебя по железке в запечатанном вагоне. И – сгинешь.

Скоро после того собрания случилось у неё дело на Мавриной заимке, что располагалась в верстах полутора от Афанасьева.

Шла не торопясь по лесной дорожке, которую знала и помнила до каждой впадинки, до каждого пня, до берёзины и колдобины.

Заимка Маврина была у жителей афанасьевских на счету особом – за близость и местоположение, за дремотные леса вокруг и за луг, что примыкал с южной стороны, прозванный людьми «Мокрым». Этот Мокрый луг зачинался как раз от Мавриной, изгибался дугой в сторону заимок Кулики и Сатай.

В старину каждый сметливый хозяин старался иметь собственную заимку, да не каждому это было под силу. Однако многие напрягали жилы: корчевали мелколесье, а то и кряжи вековые, ставили избы, амбары, стайки, огораживали жердями выгоны и поскотины, обустроивались и обживались на десятки лет вперёд. Близ заимок были поля. Иной хозяин и сам проживал на заимке безвыездно, но чаще селил там работников или безлошадную родню.

Весной, как только оголялась земля и начинала проглядывать молодая поросль, перебирался глава дома с семьёй на заимку и проживал здесь вплоть до завершения всех сельских работ, отлучаясь лишь по крайней необходимости, когда возникала нужда куда съездить, чего прикупить, поднать какую пару рук для ускорения заготовок. Да и некогда было разъезжать:

с самой весны и до поздней осени работал крестьянин в поте лица, изматывая и себя, и домашних, добывая пропитание, из которого и слагалось потом хозяйство. Больше добыл – больше и продал. Больше продал – больше и приобрел. Больше приобрел – больше захватил земли. А земля для него была всем: кормила, обувала и одевала, обеспечивала прирост семьи, а когда изнашивался телом, забирала к себе на вечный покой.

По левую руку от Мавриной заимки Мокрый луг ограждался огромными елями, будто выросшими до своего отпущенного им природой предела и замершими на месте так-то на многие века вперед. Ежели смотреть от заимки в сторону этих елей, то взору открывались сплошные заросли кислицы и иван-чая. В пору летнюю горел Мокрый луг огнями стародубов, жарков, саранки, голубел головками васильков, зеленел высокой густой травой, какой произрастало здесь в изобилии. Жалко было губить ту красоту человеку с косой, но делать было нечего, и ложилось богатство лесное тугими валками, сохло до времени, сгребалось и укладывалось в копны. А там и новая поросль поспевала, правда, не дорастая до потребной высоты и спелости. Тем Мокрый луг и славился, что можно было здесь собрать два укоса при любом лете, мокротном или засушливом. Гадали афанасьевские жители, в чём тут заковыка, да ничего придумать не могли. Высказывалось предположение, что близ верха земли, где нарастает дерновина, а из неё и разнотравье, будто бы лежит плоская водоносная жила, как бы ослабевающая в своей упругости и течи в дни затяжных дождей, и обретающая силу в жару. Но как бы там ни было, Мокрый луг во всякий год приносил обильный урожай сена.

Здесь же любили афанасьевцы собираться на гулянье в Христовы праздники, по случаю свадьбы, по какому другому заделью. Сюда же любила вечерами приходиться молодёжь, за которой, как водится, увязывалась и мелкотня.

Памятен Настасье Мокрый луг тем, что здесь состоялся её первый стговор с Семёном, с чего и почались её девичьи грёзы, томление тела и обмирание души.

Годов пятнадцать ей было, когда в ватаге такой же, как и она, молоди притащилась на Мокрый луг доглядывать за теми, кто уже хороводился, распевая и приплясывая под разливистую гармонию. Выглядывала из-за кустов и берёзин, тарачила глазёнки на то, как парни и девки то сходились в танце, то расходились, притопывая.

«А мы просо сеяли, сеяли...» – задирали девки.

«А мы просо вытопчем, вытопчем...» – настаивали парни.

Хотелось туда же, да года не пускали. Подрасти надо было. Тут и тронул девчонку за плечо кто-то.

Вздрогнула, обернулась, а то стоит Семён, который был старше Настеньки годов на десять.

– Ну что, душа моя, – спросил. – Тоже тянет попрыгать?

– Тянет, – прошептала, как заворожённая.

– А пойдём прогуляемся по лесу, я тебе сказку расскажу.

– Пойдём, – чуть выдохнула.

И пошли. Он степенно, с хорошей улыбкой на смуглом лице, она чуть в сторонке – растерянная, притихшая.

Семёна Зарубина она знала. С парнями деревенскими он мало в чём сходил, дружил только с Ларионом Беловым. С этим его только и видели.

Не слыл ленивцем и забиякой, не был замечен в чём худом, а вот с книжкой – замечен. Всё читал, к дьячку местному хаживал, разговоры всякие вёл. И дома у Настеньки о Семёне по-доброму отзывались, особенно тянька, который вообще-то скуп был на слова. Зато уж ежели скажет, дак золотом сыпались те слова, хоть собирай – да на базар в Тулун поезжай за обновлениями.

– В деда, – говаривал родитель. – Не в тятеньку-балабона. Дед-то его, Степан Пименович, знатный был христианин. Умел работать, землю понимал. Энтот – в него: и обличьем, и повадкой.

Слышала, да не слушала девонька слухом сторонним, потому как мала была. А тятенька нет-нет да помянёт Степана Пименовича:

– Сказывали, секрет он какой-то знал, будто бы переданный ему одним пришлым стариком. Оттого и рожь родилась, и скот вёлся, и птицы был полон двор. А помер – поделили хозяйство-то детки и расфуговали нажитое, ни с одного толку нету.

И договаривал в раздумье:

– Може, внуку передал секрет-то, любил он Сёмку, всюду за собой таскал...

Оказавшись с Семёном наедине, вдруг вспомнила те тятенькины наговоры да возьми и ляпни ни с того ни с сего:

– Секрет ты будто бы знашь, про то тятенька сказывал. А секрет тот дедушка твой, Степан Пименович, тебе передал...

И выскочила наперёд, встала пред ним, заглядывая в глаза Семёновы снизу вверх.

– А хочешь, расскажу тебе, душа моя, и о деде своём Степане Пименовиче, и о секрете его?

– Сказывай! – подскочила Настенька на месте.

– Слушай же... Отсед

## Рассказ Семёна

Были мы в то лето с дедом на заимке. И раз как-то отворяются двери в избу – и входят трое стариков. Все разные обличьем. Первый представился Богданом – высокий, седой, костистый, с большими руками и видно, что сильный. Другой, пониже и пошире в плечах, назвался Насыром – татарин, значит. Третий и вовсе маленький росточком, кругленький такой и глаза – совсем щелочки. Звали они третьего промеж собой Тофиком. Из тофалар он оказался, это народ такой в горах Саянских проживает, что от Афанасьева вёрст с пятьсот будет.

Заговорил Богдан, и так заговорил, будто откуда-то сбоку, со стороны. Вот как будто кликнешь в лесу, а чуть погодя – отзыв, так и его голос показался мне. Богдан этот и говорит:

– У тебя, хозяин, худо было в избе. И сейчас-то худо здесь.

Пошёл к одному из углов избы, порылся и несёт мешочек, развязывает и высыпает из него, как сейчас помню, какие-то корешки, пёрышки птичьи, волосы человечьи, косточки какие-то.

– От этого и худо тебе, – говорит. – А хочешь, я сделаю так, что недруги твои сами сюда прибегут?

– Не надобно энтова, – отвечает мой дед. – Пускай себе живут.

– И правильно, – согласился Богдан. – Я сейчас нечисть эту уничтожу.

И пошёл прямо в баню. А чуть погодя будто слышим крик, какой-то писк, будто кто-то кого-то гоняет да мучает.

Возвращается Богдан и спрашивает моего-то дедушку:

– Ну, теперь рассказывай, что у тебя стряслось-то...

Степан Пименович и поведал о том, что помер сын у него в цвете лет, только полгода как женился. Поехал в поле и вдруг ни с того ни с сего упал на землю, и кровь пошла горлом. Истёк кровью-то.

– Это сосед твой по наущению брата своего напустил на сына твоего порчу за то, что не женился он на его дочке. Рассказывай дальше.

– А дочь моя померла в Тулуне в больнице. Захворала, бедная, вот и свёз я её в Тулун, тамоко и померла от неведомой болезни. Привёз я её без волос и бровей.

– Это соседа же дело рук, потому как решился он весь род твой свести под корень, – вставил своё слово Богдан.

– Тут и старуха моя скovyрнула, – продолжил Степан Пименович. – С вечера говорит мне, что, мол, помру я, Стёпушка, чую – помру скоро...

– И эта беда из того же угла, откуда вынул я мешочек.

И подытожил Богдан:

– Следом и другие твои корешки поотмирали бы, да теперь ничего не бойся – живи и здравствуй.

Присели они за стол, покормил их дед-то мой, а я тут верчусь, стараюсь не пропустить ни единого словечка.

Откушали, и Насыр с Тофиком подались спать, Богдан со Степаном Пименовичем остались. Богдан-то и рассказывает:

– Подрядились мы тут недалече дрова заготовливать, а ночевать негде. Строить какую землянку – только время терять. Ежели ты не супротив, то мы у тебя ночевать будем. Уходить будем рано, приходиться поздно и никоим образом не помешаем тебе.

– Живите сколь хотите, – отвечает мой дед. – И я возле вас какого знахарства наберусь, вижу, люди вы непростые и с добром ко мне.

– Ну, уж никак не обидим и не стесним, – отвечает Богдан. – А так как человек ты сторонний и добрый, то хочу я облегчить душу свою рассказом о своей жизни, ежели нет от тебя возражения, то послушай меня, старика...

И начал рассказывать издалека, с самых молодых своих лет.

Жил будто бы в далекой Беларуси, в Могилевской губернии, старик, и было у него три взрослых сына. Старику тому будто бы дано было от самой Земли некое Знание. И жил будто бы рядом помещик, который ведал о Знании старика и всякими правдами и неправдами использовал его.

Помещик богател не по дням, а по часам, забирал под себя всё больше земли и зорил крестьян. Крестьяне также ведали о Знании старика, и когда кто-то из них имел большие долги перед помещиком, шли к старику и просили подмочь выпутаться из долгов. Старик приходил к ним на полосу, ложился животом на землю и будто бы вёл с землёй разговор. Потом вставал, нагибался, брал в пригоршню землицы и долго дышал ею, будто спрашивал, чего ей надобно, чтобы родила. Далее наказывал крестьянину, когда пахать, когда сеять, как сеять и чем сеять, с какого боку-конца заходить и с какого заканчивать. И получал крестьянин такой большой урожай, что рассчитывался с помещиком за свои долги и самому оставалось прожить до следующего урожая.

Помещику это не нравилось, а так как был он уже сильно богатый, то и решил обойтись без Знания старика и извести его со свету. Взять старика силой не мог, да и вышний закон нарушить было боязно, тогда решил он стравить на него цепных кобелей, которых держал тьму-тьмушую и которые могли порвать человека мгновенно.

Предчувствуя скорую кончину, призвал будто бы старик своих сыновей и говорит им: «Скоро, детушки, смерть моя придёт. А помру я от злодейской руки помещика. И никакого нет спасения. Но я не могу унести с собой своё Знание, данное мне от пращуров. Вот две бараньи мошны, а в них наша родная земля. Одну я вешаю на шею старшему сыну Богдану, другую – младшему, Петру. Средний сын Иван останется здесь, при земле, так как женат он и детей имеет, а вы ступайте по миру и обойдите весь свет. Но землю не вздумайте потерять. В конце своей жизни принесите её на Родину – так вы и сохраните Знание, которое вам откроется».

Пойти братья должны были на следующее утро, а вечером помещик призывает к себе старика. Тайком за ним следом пошли и сыновья. Как только старик приблизился к усадьбе, помещик на него спустил своих кобелей. Но только они подбежали к старику, тот их остановил и уговорил, потому что знал нечто и мог вести разговор с любой животиной и птицей. Тогда помещик спускает на старика двух голодных матёрых волков, которых держал про запас. Волки и напали на незащитного человека, этих уже ничто не взяло. Напали, повалили и стали рвать. Тогда выскочили сыновья, и так получилось, что младший оказался проворней старших и добежал до волков первым. Одного успел задавить, другой порвал ему нос и пожевал руки. Подбежавшие братья убили волка, но отца уже спасти не могли.

Помещик в своей озлобленности вызвал исправника, и сыновей арестовали будто бы за намерение ограбить. И судили: средний получил помилование, старшего и младшего решено было отправить этапом в Сибирь.

Погнали пешим ходом через Беларусь, через всю Рассею, и долго так они шли, причём Богдану пришлось почти тащить на себе Петра, так как тот ещё не успел оправиться от ран и был слаб. За Уралом отпустили их из-под надзора, наказав ни в коем разе не возвращаться своей волей назад до истечения назначенного срока.

Ещё некоторое время шли братья, и вот под Красноярском, когда остановились в какой-то деревне, младший упрямил старшего оставить его здесь долечиваться. И уговорились они непременно образом найти друг дружку, а потом уже вернуться в Беларусь, на Родину, так как земля, которую носили у себя на шее, могла быть возвращена только в обеих мошнах, как и завещал им отец.

Богдан шёл только зимой, весной останавливался в какой-нибудь деревне и жил там до поздней осени, пока не будет убран урожай. И там, где он останавливался, земля у крестьян родила, как никогда доселе. Народ обогащался за одно только лето, и люди понимали, что имеют дело не с простым человеком. Просили его остаться, поселиться в деревне навсегда, но Богдан не соглашался и уходил. Снова шёл зиму, а весной задерживался в какой-нибудь другой деревне.

Так-то остановился он у одного чалдона, а у того была дочь по имени Аксинья, молодая девушка. И полюбила она Богдана, хотя Богдан был уже мужиком в зрелых годах. Понравилась и она ему. Но жениться не мог, так как тогда надо было бы остаться в деревне навсегда и не выполнить наказ отца. Как обычно, осенью собрался он в дорогу, и между Аксиньей и Богданом состоялось объяснение. Богдан честно признался, что девушка ему по сердцу, но жениться на ней он не может. Аксинья ответила, что ежели требуется, то пойдёт за ним хоть на край света. Но Богдан не мог увести дочь крестьянина, который дал ему кров и пищу, потому на следующее утро ушёл потихоньку, когда все в доме спали.

Прошло несколько дней, и как-то Богдан приметил, что следом за ним кто-то идёт. Притаился и видит: за ним увязалась Аксинья. Тогда он вышел к ней, и они объяснились. Богдан дал слово, что женится на девушке только тогда, когда найдёт своего брата. Аксинья согласилась.

И пошли они так-то до гор Саянских. Долго шли, питаясь то ягодой, то кореньями, то рыбой, то дичью – всё это добывали сообща, а добра этого в те года в горах Саянских водилось в изобилии. Ночевали в шалашах, зимовьях охотников и просто где придётся. И так случилось, что нарушили они данный друг другу обет, и Аксинья забеременела, хотя они и не были венчаны.

Однажды наткнулись на человека, который лежал со сломанной ногой и не мог передвигаться самостоятельно. Человек назвался чалдоном, а в горах Саянских промышлял старателем, добывая золотишко. Богдан мог лечить людей и помог чалдону, чернявому молодому парню. Пожили они некоторое время на одном месте, пока не зажила нога у чалдона, а когда стал ходить, то повёл Богдана и Аксинью на прииски.

Добрались до места, где соорудили наскоро избушку, и стали мыть золотой песок. Аксинья оставалась в избушке, так как день ото дня тяжелела всё больше и больше.

Богдан был уверен в любви к нему со стороны Аксиньи и потому не замечал, что чалдон тайком пялит на неё глаза. Аксинья же ничего о том не говорила Богдану и – кто ж скажет – может, ей также нравился чалдон.

Однажды чалдон сказал Богдану, что в этот день он с ним не пойдёт к ручью, так как плохо себя чувствует. Богдан не стал возражать и пошёл на работу один, а когда вернулся к вечеру, то ни чалдона, ни Аксиньи в избушке не нашёл.

Долго звал их, долго ходил вокруг места, где они все жили и добывали золото, и наконец понял, что его бросили. Тогда решил во что бы то ни стало догнать беглецов и наказать за измену. А чтобы не промахнуться и догнать наверняка, окольными тропами быстро ушёл далеко наперёд, где выбрал такое место, что мимо него беглецы уже никак не могли пройти. Пока ждал, построил избушку, причём соорудил в ней трое нар: для себя, для Аксиньи и для чалдона.

Прошло сколько-то времени, и появились беглецы. Увидели Богдана и присмирели. У Аксиньи был уже большой живот, и вся она сменилась с лица. Чалдон похудел, и видно было, что им недоставало пропитания. Может, и мучились от своей измены, ведь Богдан спас чалдона от неминуемой смерти, а Аксинья видела от него только заботу и ласку.

Посмотрел на них Богдан, посмотрел, сердце у него дрогнуло, и решил отказаться от мщения. И сказал им будто, мол, прощаю вас обоих, а так как зима на носу, то идти вам дальше

не следует, и будем жить вместе до весны – к тому же и не мог отпустить от себя Аксинью, которая носила под сердцем его ребёнка.

И жили они так-то некоторое время. И повадился ходить к избушке медведь-шатун. Подойдёт – днём ли, ночью – чего-нибудь сломает, пошумит и уйдёт.

Опасно стало выходить на охоту, а жить чем-то надо было, и решил Богдан добыть того медведя-шатуна. Изготовил рогатину, выстругал поострее кол, наточил на камне нож, который всегда носил при себе, и стал ожидать появления зверя. И зверь пришёл. Заманил его Богдан в такое место, где тот наскочил на приготовленный им кол, прижал рогатиной к лесине и подобрался с ножом, чтобы убить. Нож успел воткнуть зверю в то место, где у того должно находиться сердце, но, видно, слишком близко подобрался к шатуну и тот успел хватить Богдана по голове лапой, отчего Богдан упал, обливаясь кровью.

Сколько так лежал в беспамятстве, не знает. Очнулся и видит себя в избушке, а рядом двое неизвестных ему мужиков – татарин и тофалар. Они-то и рассказали, что нашли его лежащим около мёртвого медведя, и часть волос вместе с кожей было у зверя на когтях. Перенесли Богдана в избушку, а в ней лежит мёртвая женщина, которая должна была родить, но не смогла. Больше в избушке никого не было. Женщину они похоронили, а Богдан пролежал ещё несколько дней в беспамятстве.

С тех самых пор три этих человека и ходили вместе, пока не оказались у нас на заимке.

– И вся сказка? – прошептала Настенька.

– Не ведаю, душа моя, сказка то или быть, но слышал я это от старика Богдана в ту ночь, когда сидели они с моим дедом Степаном Пименовичем и пили чай. Я же притаился на печке и всё слышал.

– А чё было потом?

– Потом, когда Богдан у нас появлялся, я все старался быть к нему поближе. Старик также меня приветил и часто со мной говаривал.

– И не страшно было?

– Чего ж страшиться?

– Дак верно колдун был этот Богдан... Тятенька с маменькой завсегда говаривают, что ко всякому делу с молитвой Божьей надобно подступаться, молитвой же и спасаться.

– Молитва молитвой, душа моя, да на свете не всё так просто. Ежели бы от всякого зла можно было откреститься Божьим словом, то на земле всей давно был бы рай, а мы бы с тобой не пешим порядком передвигались, а летали, вроде воробушков, ангелами. Есть и другое...

– Ди... диавольское? – внутренне трепеща, наступала Настенька.

– И это также. Но я вот прочитал в одной книжке, что со времён сотворения мира – вот как початься белому свету – народилось на земле некое Знание, и Знание это будто бы вложено было в неких редких людей, которых можно по пальцам руки пересчитать. Не подвластно оно ни Богу, ни чёрту – само по себе будто.

– Как это? – ахала девушка.

– Передаётся то Знание будто бы от человека к человеку на смертном одре иль перед тем, как человеку помереть, и тяжельше его ничего нет на всей земле. Будто бы во спасение и в наказание сей крест – это глядя по человеку, потому что со временем то Знание каким-то образом попало в руки к худым людям, и те худые люди обернули его во зло. Поделались будто бы те владеющие Знанием люди на две половины. И происходит меж ними вечная, для простого человека закрытая, война не на жизнь, а на смерть. Света и тьмы. Чёрного и белого. Добра и зла. Я вот думаю, что Богдан – от воинства светлого, а те, кто взялся известить род Степана Пименовича, – от тёмного. Я и сам в этом пока мало чего понимаю, но чую, что далеко не всё гладко и ладно на белом свете...

Помолчав, со вздохом добавил:

– Я жалею сейчас, что мало понимал тогда, да и грамоту не знал – не читал книжек. Мне б сейчас поговорить с Богданом-то...

– А ещё об чём сказывал Богдан-то? – донимала ничего не понявшая из объяснения Семёна Настенька.

– О разном, но больше о земле. «Чтобы понять землю, – говаривал, – надо больше дышать ею, больше жить её горем и радостью и чаще как бы просить у неё совету, ибо земля – мать всему и всем». Будто бы это человек живой, земля-то... Вышний человек, стоящий над всеми – и малыми, и старыми, и крестьянами, и людьми чиновными, даже духовными. «Это вот, – говаривал, – и есть главная наука о земле». И деду моему говаривал: «Знаешь, – показывал на меня, – малец больше увидит, а мы с тобой успеем помереть. Вот ему, может быть, откроется, как земля будет помирать – точно так же, как помирает человек. Слишком у неё короткий век, потому что люди ополчились на свою мать, оторвались от неё и не чувствуют беды – это вот самое страшное. Земля ведь рождена со своим нутром, со своим телом и со своей болью. Она – живая, а люди решили, что они хозяева над ней, и не хотят служить своей матери. Вот почему, – говаривал он дальше, – так много зла вокруг? А дело в том, что плохие люди помирают, а зло оставляют здесь, и его, зла то есть, слишком много накопилось, и стало оно как бы перевешивать добро».

– Но добро также оставляют?..

«Всё добро растворено в земле, – говаривал о том Богдан. – Но оно не может жить и поступать, как живёт и поступает зло, потому и бывает побеждено добро-то». Вот ты, Настенька, бываешь на праздниках и видишь, как один кто-нибудь драку учинит, а праздник испортит всем, будто над всеми имеет власть. Но это не человек имеет власть, а зло, которое он содеял. Отсюда и поговорки, приметы народные, как например, «ложка дёгтя испортит бочку мёда». Ну и другие.

– Чё ещё говаривал? – дёргала за рукав рубахи Настенька.

– Много чего. Вроде как бы одно по одному, но разное. Понял я только, что люди должны всё добро в себе, какое есть, собрать в кучу и жить общим порядком. Иначе все погибнут и земля с ними.

– И ты, и я погибнем?

– Все погибнем: и ты, и я. Главное же зло, будто бы, в охватившей людей жадности и зависти, отсюда жажда всё захватить, поглотить, никому ничего не оставить. Вот вроде идёт человек в гору, стремясь к самой вершине, и вроде вот-вот дойдёт, а она от него всё дальше и дальше. А пока идёт, много зла приносит и людям, и земле. А земле надо помогать. И друг дружке надо помогать. Вот и выходит, что людям поврозь нельзя. Только вместе.

– Но мы и так вместе: тятенька, маменька, сестрёнки, братки...

– Это семья. Надо же, чтоб вся деревня, все деревни, все города. Вся земля. «А пока, – говорил он, – надо начинать с малого и жить деревней, как живёт семья. Потом чтобы другие деревни так же, и волости, уезды, губернии, Россия».

– Не захотят же все, шутка ли – все волости и губернии? – шептала, неведомо чего пугавшаяся девушка.

– А чтобы так случилось, надо примером своим показывать, как надо жить и блюсти землю. Надо до самоотречения, до самого что ни на есть конца идти, не сворачивая. Любить людей и ближних. Всяких людей: плохих и хороших.

– Про то ж и в Писании сказано. И тятенька с маменькой мне то ж говорят...

– Ты, Настенька, сказки знаешь? – спрашивал Семён.

– Всякие знаю.

– А помнишь, как в сказках-то говорится? Скоро, мол, сказка сказывается, да нескоро дело делается... Так вот. Богдан и говаривал, что мечту о счастливой жизни люди исстари в себе носят и в сказки её перекладывают. Но сами и не верят, что можно так-то жить въяве. А

надо, чтобы сказка стала былью. Чтобы стала былью сказка-то, надо всем вместе захотеть так сильно и так настырно, что уж никакое зло не могло бы тому помешать. Многим поступиться надо заради общего благоденствия, как поступился в своей жизни Богдан. Да хоть как Христос поступился. Богдан ведь, при его знании, мог жить припеваючи. И Аксинья, видать, того же от него хотела, да поняла нутром своим женским, что никакая её любовь не способна изнутри переломить Богдана, чтобы он стал другим и жил с нею семьёй, как живут муж и жена. Потому, видать, с отчаянья решила она сговориться с чалдоном и уйти к другим людям, которые живут, как все, а вовсе не потому, что разлюбила Богдана или хотела изменить ему с чалдоном. Богдана-то как раз и невозможно было разлюбить, потому что человек он был редкостной красоты и силы. Ради ребёнка, что в себе носила, ушла. В общем, от неверия это в ней. От невозможности понять, ради чего Богдан по земле мечется, какую правду ищет и что ему надобно...

– Чудно так-то, – не понимала Настенька. – Ну, а дальше-то чё было? Куда Богдан-то делся?..

– А тут своя история. Как-то вижу я: сидит старик у речки нашей, Курзанки. Чужой старик – седой весь, кудлатый. Подошёл я к нему и вижу: нос поковерканный, руки какие-то скрюченные. На шее на веревочке что-то болтается. И смекнул, что это брат младший Богданов. Подбираюсь к нему и говорю: «Пошли, – мол, – дедушка, к нам в избу: чаю попьёте, отдохнёте...» Он и пошёл. А как взошёл в избу, то Богдан сразу его и признал – был он как раз у моего деда. Признал, вскочил с места, побежал навстречу, пал на коленки перед Петром и говорит: «Прости, брат, что не нашёл я тебя...»

И Петр пал пред ним на коленки. И оба они заплакали. Обнялись и простояли так-то долго ли, коротко ли – не знаю: мы с дедом Степаном Пименовичем вышли во двор, чтобы им не мешать. А когда возвратились, Богдан и говорит: «Ты, Степан Пименович, проводи нас завтра до Тулуна – будем пешим ходом возвращаться к себе на Родину, в Беларусь».

«Да возьмите моего коня», – предложил им дед.

«Нет, – ответил Богдан. – Как явились на вашу землю пешими, так и должны уйти».

Утром и убралась. И знаешь, Настенька, сколь лет прошло с тех пор, а я всё мучаюсь думой: ведь неправильно, когда один богатеет, а у других – тараканы по сусекам ползают. Все должны богатеть одинаково – в том, мне думается, и заключено Вышнее Знание, каким владели старик с его тремя сыновьями. К этому, по моему разумению, и должен человек прилагать усилия...

## История Катерины

Первого своего дитёнка Катерина рожала по-старинному – в бане. Принимала роды Настасья. Капитон топтался за дверями, не слыша ни крика бабьего, ни голосочка народившегося дитяти.

Морозы стояли январские, и дело было перед самым Крещением. Вынесла бабка завернутого в одеяльце маленького человечка – и в натопленную заранее избу. За ней приплелась уставшая невестка.

Капитон – тут же. Развернули одеяльце, он глянул и «показал спину». Так ни разу и не взял на руки доченьку, потому как ожидал сына.

Поведение такое будто ножом полоснуло по сердцу даже Настасью, а уж о молодой матери и говорить нечего. Тут-то и понадобилось впервые участие и забота свекрови: плакала потихоньку невестушка, горевала вместе с нею и свекровушка. Катерина высказывала свою обиду женскую, Настасья о своей доле материнской печалилась, выговаривая, как ей трудно и было, и есть, и ещё будет с немчурой – наказанием Божьим. Говорить можно было не таясь – всё одно не слышит, но отчего-то шёпотом, с оглядкой поверяли друг дружке заветное.

Капитон топтался тут же, посматривая в их сторону и, видно, догадываясь, что речь о нём. Потому вдруг подошёл к матери, наклонился к ней, произнёс по своему обыкновению, коверкая слова:

– Хытрая... Хочешь делать?

Повернулся и отдалился.

Настасья сжалась в комок, посерела лицом, заохала-запричитала:

– Ах ты, такой-сякой!.. Дитёнок-то он – всякий дитёнок... Немушку бы тебе, растакой-рассякой, чтоб оголила, да по миру пустила... Ишь, не нравится, что девонька народилась!.. Доченьку не нада ему, немчуре... А ты, невестушка, не печалься и слёз напрасных не лей – сгодятся они тебе ещё... – промолвила напослед.

И снова затяжелела Катерина. И разрешилась, но уже мальчиком.

Никогда не видела Настасья своего Капку в таком возбуждении: силится выговаривать членораздельное, из чего можно было разобрать только одно:

– Малчык... Хоросё... Хоросё... Малчык...

И гладил себя ладошкой по груди, сообщая лицу выражение крайней умильности.

Ещё быстрее забегал по своим заботам мужик, ещё больше работы взвалила на свои плечи Катерина.

С рождением детей семья обрела черты семьи крепкой, даже в чём-то заживающей: справили обновы хозяйке, купили хороший костюм хозяину. К тому времени прекратились всякие пересуды соседей по поводу соединения глухонемого и женщины здоровой, какая могла бы стать парой кому угодно, да не стала, обретя своё кровное рядом со старухой и её сыном-калекой.

Из родни к концу сороковых в Тулуне у Катерины осталась только тётка Надюшка и её дети. А большая семья Юрченкиных, из которой она выпала, снялась и в полном составе уехала на остров Сахалин по вербовке. Бежала уж в который раз от нищеты беспросветной в поисках счастья, какое никак не давалось этой большой трудящейся семье.

Перед самым отъездом побывала в гостях у дочери мать её Фёкла, которую Настасья встретила со всем к ней уважением. День был будний, хозяева на работе, потому стгоношила бабка чего получше на стол, вскипятила чай.

О чём толковали тогда две сватки – никто не ведаёт, но мать свою прибежавшая на обед Катерина застала распотевшей и расслабленной – в том состоянии, в каком бывает удовлетворённая увиденным и услышанным всякая мать. А через некоторое время Катерина с Капито-

ном ушли провожать семью Юрченкиных на железнодорожный вокзал, где посадили на поезд, и отбыли Юрченкины в дальние дали, как оказалось, навсегда.

– Ужинать будешь? – спросила Катерину Настасья.

– Нет, мама, не могу я сядни. На душе муторно...

Поглядела на неё Настасья, поглядела и подумала горестно, что теперь уж точно никому не даст её в обиду – ни сынку собственному, ни варнаку какому чужому.

Всякое видывала на своём веку. Бывало, чужой человек ближе единокровного, а единокровный – хуже разбойника с большой дороги. Разденет и разует, а тебе бросит какую-никакую обдергайку на бедность. И её, Настасью, обирали так-то свои же, на кого и не подумаешь.

Часто сидела она у печки, припоминая то одно, то другое. И получалось, что враги вкруг её падали, как снопы. То один сковырнётся, то другой очокурится. А она живёт себе, не изменяя родительским заветам: не зарься на чужое, не трогай того, что тобой не положено, держи язык за зубами, живи своим прибытком, не давай в своем хозяйстве упасть и соломинке, делись с ближним, коли тот попал в беду.

Невестка оказалась как раз такой, о какой грезилось матери для своего калеки-сына. И в том виделся перст Божий: за страдания её, зная, послал Господь таку невестку. И коровой одарил он же: без животины в семье не бывает прибытка.

С того стакана молока Майка стала заметно оправляться и округляться. Катерина бегала к ней чуть ли не каждую свободную минутку, веселея вместе с набирающей силу коровой. А та уже разборчиво ворошила мордой сено, выискивая сладенькое: листочки подорожника, траву зверобой, корзинки ромашки, головки клевера, стебельки пырея, верхушки иван-чая и многое из того, о чём знала только она одна.

С песенкой входила Катерина в загон к Майке, с загодя приготовленными ласковыми словами, порой лишёнными мало-мальского смысла, но исходящими из самой глубины её женской сути. Да ведь животинка, коровёнка – тоже женщина. Тоже сотворена прародителем для продолжения своего коровьего рода. Всё и вся кругом заплетено-завязано в единый животворящий клубок. Всё и вся, истекая из одного, перетекает в другое, дабы явить миру здоровое и красивое своей душевной и телесной наполненностью потомство.

Майка никогда не ложилась в мокротное. Воды пила вволю. В стайке не гулял колючий зимний ветер.

В доме гудел старинный сепаратор, и то было уже хозяйство бабки Настасьи. Сепаратор был её приданым от родителей, когда ещё много лет назад засобиралась девкой красной замуж за своего демобилизованного из царского флота унтер-квартирмейстера Семёна Зарубина.

Гудел сепаратор, держала бабка за ручку крепкой хваткой, сообщая машине, требуемое вращение его внутренностей. Рядом скакали внуки, ожидая окончания дела, чтобы слизать приставшие к вороночкам сливки, когда Настасья зачнёт разбирать уставшую машину.

Сливки затем превращались в масле, и его сбивала она же по старинному крестьянскому способу – в четверти.

Просепарированное молочко обращалось в творожок, простоквашку, сыворотку и всё это добро расходилось, обретая своё место в крошке, сырниках, блинчиках, всякой стряпне, томилось в чреве русской печи и улегалось затем в желудках членов этой работающей семьи, высветляясь в чистых розовощеких лицах больших и малых человек.

И как тут было не холить Майку, как тут было не помнить о часе, минуте, когда надобно идти к ней: сенца бросить, напоить, порадеть о сухом и чистом месте для её отдыха.

Ещё только хлопнет входная дверь в избу, а корова уже знала, кто к ней сейчас пожалует: Настасья или Катерина. Шевелила ушами, перебирала ногами, поджидая с нетерпением, будто оголодала.

Бабка иной раз топала к ней под собственное же ворчание, выговаривая про себя то, от чего воздержалась в доме. Войдя к корове, досказывала накопившееся уже Майке.

– Ишь, о чём балакают, оглашенные... Дом строить гоношатся... А на меня, старую, броят и деток, и хозяйство – ворота, как вол... Не наработалась ишо я, не нахлесталась, не намоталась...

Спустя какое-то время говорила уже другое:

– Оно, канешна, дело хорошее... Дом-от свой, что крепость: каждому уголок определится... Каждого обогрет... В старину-то изб чужих не покупали – сами излаживали. Отдельно жили семейством, каждый сам по себе хозяйствовал...

Вздыхала, призадумывалась, застывала, положив руку Майке на шею, забывая, зачем и шла-то к корове. Потом спохватывалась, исполняла требуемую работу и уходила восвояси.

Знала корова и поступь молодой хозяйки. Эта неслась, как угорелая, всё куда-то торопилась, всё боялась куда-то не поспеть. Бывало, что мурлыкала себе под нос песенку, бывало и молчком – не в настроении, значит. Песенки Катерины Майка слышала не один раз и, видно, они ей нравились. Во всяком случае, как повернёт в сторону хозяйки уши, так они и торчат повёрнутые.

Забывала в такие минуты Майка о жвачке, поворачивая голову к калитке только тогда, когда скрипела железная ось щеколды и в просвете калитки скрывалась фигура молодой женщины.

Но и у Катерины было за душой такое, чего не пересказывала никому и о чём печалилась, кручинилась.

Народилась она сразу после Гражданской в семье крестьян-малороссов. После неё от родителей, Игната и Фёклы, дети появлялись, как на заказ, строго раз в год. Потому уже в пятилетнем возрасте определено ей было место няньки. Трясёт зыбку, в коей кривит ротик последний по счёту, а за драное платишко хватаются предыдущие. Звенит в ушах няньки от многих голосов братьев и сестрёнок, и нет никакой возможности зажать те уши рученьками, потому как рученьки те заняты. Подводит живот Катькин от голода, а положить в рот нечего, так как бедно живёт семья Юрченкиных.

В начале тридцатых и вовсе стало жить невмоготу – тогда, сказывают, в Малороссии и детишки приготавливались на прокорм людям. Решили родители спастись за Уралом. И поехали. Долго ехали, коротко ли – остановились в некоем Хилке, что в Читинской области. Место безлесое, с горами каменистыми, да ещё река по прозванию посёлка – Хилок.

Стали жить. И однажды уехал Игнат в Читу, где готовили рабочих для обслуживания железной дороги. Время было летнее, августовское, дождливое, потому река возьми и выйди из берегов.

Глянул кто-то из домочадцев Юрченкиных в окошко, а в огороде – вода. И будто кто распирает ту воду изнутри, и она все полнится и полнится, заливая впадины, скрывая под бурлящей гладью всё что ни попадя. И вот уже стронулся с места парник огуречный: поднялся тот парник с наросшими овощами и – поплыл. Следом подняла вода сруб колодезный, и он так же поплыл в неведомое далёко.

Немножко погодя видят Юрченкины – поднимается западня подпола, будто кто толкает её снизу. Сбилась в кучу семья, завыли детишки, охватила их руками Фёкла на сколько хватило рук и говорит:

– Ну, ребятки, спастись надо. Полезем на крышу дома, авось перемогём беду.

И полезли, где уселись на драньё, и плачут в голос: тогда в семье Юрченкиной было только детских голов пятнадцать, да сама хозяйка на сносях – вот-вот рожать Фёкле.

Двое суток сидели, не шелохнулся дом под напором воды, хотя вокруг них плавало всякое: срубы домов, колодцев, доски заплотов, сортиров, скарб людишек.

Спустя двое суток подплыли к их дому мужики на лодках, сняли детишек, а мать забрали в родильный дом. Вода стала спадать и наконец ушла в свои берега – видно, другой нашла выход.

Между тем пронёсся слух в народе, будто скоро надобно ожидать ещё большей воды, и стали люди строить плоты, так как полагали, постройки их, на которых спасались, другого напора не выдержат.

Но вода так и не пришла. Фёкла же между тем родила девочку, и нарекли её Августой.

Вода принесла семье Юрченкиных и прежнюю бедность. Снова поехали, на этот раз в Иркутскую область, где и остановились в деревне Заусаево.

Колхоз небогатый, но всё ж земля под окошком, а на ней и картошка, и морковочка, и зелень какая-никакая произрастает. В лесу за огородами – грибы, ягоды, трава луговая для скотинки. Ещё речка Курзанка, а в ней – рыбёшка неказистая, а где рыба, там и люди. Селясь у речки, старые люди смекали по-своему разумно, соображая: не родит земля, так рыба пойдет в дело – не пропадут.

Работы же в колхозе – видимо-невидимо. Только поворачивайся.

Тут и Катерина пошла робить: поначалу свинаркой, а затем и дояркой на скотном дворе. В войну – страшную, проклятую – трактористкой.

А почему та война страшная и проклятая, так это потому, что взят был приглянувшийся ей паренек, с которым обменивались взглядами на вечёрках, да так и не сказали друг дружке потаённого, что в сердечках их зародилось. Взяли на войну и – убили.

Тошно стало девоньке от того известия, да не одна она подпала под каток войны – всем её сверстницам было тошно, потому как гибли их женихи тысячами на той страшной и проклятой бойне, и почти каждую ожидало впереди мыканье горемычное – вовсе ли без мужа, с мужем ли, но нелюбым и постылым.

Её подруга разлюбезная – Иришка Салимонова – так та никогда и не вышла замуж, а она вот, Катерина, пошла за калеку, но о том будет сказ ниже.

В смутную, тяжёлую весну сорок третьего года пахали они своим звеном из трёх тракторов землю под посевы. И случилось так, что в чьей-то взбалмошной начальственной голове родился план – поднять болотную залежь. Очень кому-то хотелось, видно, выслужиться, и на Никитаевскую МТС пришла разнарядка. Начальник отряжает трёх трактористок, в числе коих и Катерина. Прибыли на место на своих газгенераторах, попробовали пахать землю, но плуги увязают, машины натужно гудят – и ни с места. Попробовали взять мельче, но получается одноковыряние. Бросили такую работёнку: сидят, ждут с моря погоды.

Наехало начальство с проверкой, ругалось – и саботажники они, мол, и вредители. И осудили их звено в полном составе, дали срок заключения по четыре месяца на каждого. А там и вагон вонючий, и колючая проволока лагеря, что находился под самым Иркутском.

Два месяца мантулила Катерина бок о бок с такими же, как и она, угодившими за колючую проволоку за пустяковину, – лопатила землю, таскала на себе брёвна, кирпичи. И надо же было выпасть случаю: делал обход лагеря начальник его, Александр Борисович, как выяснилось, с целью подыскать себе в дом работницу взамен освободившейся, и выбор его пал на Катерину Юрченкину.

Привели к нему в дом за пределы лагеря и оставили. Тут уж и вздохнула она свободной грудью, переделывая работёнку домработницкую с песнями, будто играючи: ходила за скотиной, полола грядки на огороде, мыла, скоблила, стирала, гладила, вытирала соплю единственному отпрыску хозяев, которого обучал игре на скрипке мужчина, тоже из заключенных, но на долгий срок, бывший музыкант откуда-то с запада. Отъелась, нагуляла бока, обрядилась в платышко новенькое, сшитое на руках из переданного ей хозяевами отреза ситечного.

И минули те два месяца, как один день. И надо было возвращаться в деревню.

Вернулась, и в первый же день побежали за ней местные сорванцы, обзывая каторжанкой.

Тошно стало девахе и так восхотелось бежать из деревеньки сломя голову куда глаза глядят. Ведь хоть и в заключении побывала, да увидела-познала иную жизнь, в которой и война не война, и не надо думать о том, что в рот положить, да и чужие люди к тебе с добром.

Уж опосля, засыпая, часто грезила о том, как бы вырваться из Заусаева, поехать-полететь в неизвестные дальние края – не видеть и не ведать этой деревенской безнадёги.

На работу пошла прежнюю – и потекли денёчки тягучие, как смола, и такие же прилипчивые то одной прорехой, то другой дырой.

И закончилась та страшная и проклятая война. И возвратились в деревеньку три калеки с фигой в придачу. А таким, как Катерина, уж по двадцать пять годков от роду и всё «в девушках». И тоска гремучая, безнадёга неминуемая.

Тогда-то и объявился в Заусаево племянник Настасьин, Костя Маленький. Поспрашивал местных, пронырлял по деревне, заявился на вечерку. Приглядывался, принохивался, задевал словами, производя впечатление человека ловкого и приживчивого.

Приступился и к ней.

– Я, слышал, Катериной тебя зовут?

– Так вроде звали до сих пор, а тебе чё надобно? – недобро глянула в глаза непрошеному гостю.

– Да вот... – мялся, представившийся Костей. – Купец у меня есть в сродственниках, но без хозяйки в дому...

– И чё он сам-то с тобой не приехал?

– Да есть одна закавыка в ём...

– Стеснительный шибко аль калека какой? – спросила в упор.

– Не стеснительный и не калека: при ногах и при руках, не горбатый, не кривой...

– Ну, дак чё ж тогда?

– Глухонемой он, Катя. От рождения глухонемой. Но ладный из себя, при деле, избёнка у него с матерью имеется. Пошла бы за него, бросила бы к чертям собачьим свой колхоз и жизнь эту каторжную, а?..

– Нет уж, – поднялась Катерина с лавки. – По мне лучше уж калека, чем немтырь.

– Да ты подумай, девка, сейчас мужика днём с огнём не сыщешь, а я днями подъеду уже с ним... – крикнул во след.

Запечалилась-закручинилась девка, сама не понимая отчего. Да и какая девка в двадцать пять лет? Перестарок, почти вековуха. Девки-то до годов осмнадцати, и те уж торопят, абы суженого не проглядеть. Хороводятся и хорохорятся, в окошки, где парни живут, посматривают. Ворожбу затевают на Святки, да так заиграются, что обо всём на свете забудут. Смехом звонким, надрывным заливаются. Каждая боится припоздниться с этим вопросом, к каковскому, видно, на свете всё сводится.

И она, Катерина, хороводилась – все известные на деревне гадания на жениха испробовала. Считала попарно принесённые с морозу поленья, бросала катанок за ворота, зажигала моченую в проруби лучину. И то выходило – замуж идти, то выпадала какая-нибудь нелепость. Скажем, катанок ложился носком в сторону какой-нибудь избёнки, в коей проживали старик со старухой. Иль моченая в проруби лучина и вовсе не хотела зажигаться, а надо, чтобы зажглась и потухла вперёд других, какие в руках у сбившихся девонек. Тогда и замуж идти. Что до поленьев, тут считай не считай, всё одно толку никакого: на дню-то охапок шесть надобно принести, и то попарно сойдутся, то хоть лоб разбей о печь – одному пары не будет.

Но на балалайке тренькать не переставала, песнями изводилась, томилась и маялась, как и её подруженьки-сверстницы. На парней посматривала, примечая, что и как. Взгляды ловила ответные, обмирала и опадала чувствами. Ни в чём не бывала плоше других-то – в работе, в песнях, в гулянках. Но не сложилось у Катерины чего-то: то ли бедность беспросветная тому виной, то ли работа от зари до зари, то ли норы казала, да парни обегали со страху перед неизвестным, – кто ж поймёт.

А ей нравился один. Любовалась она им на сходах молодежи. И ничего вроде не было в нём особенного, но млело сердечко, мечталось и думалось об нём же. Даже было – раза два

проводил до дому. На лавочке сидели. И она ему глянулась – видела то Катерина, чуяла тем местом в девке, коему нет названия ни на каковском языке.

Робкий был парнишка, несмелый с девками. Не лапистый и не горластый. Она потом сколь ни пыталась, сколь ни силилась, не могла даже припомнить, об чём спрашивал, да и спрашивал ли? Затянулось, будто паутиной столетней, заросло мшистым покровом, закрылось наглухо створками ставень то заветное, единственное, несказанное.

Взяли его в первые дни войны, и в первый же год пришла похоронка, мол, пал смертью храбрых под Москвой.

– Мама, – оборотилась к Фёкле Катерина, когда уже посуду убрали со стола и помыли. – Был сёдни тут один из городу, сговаривал за немтыря, сродственника своего, идти замуж.

– Чё это ещё за немтырь? – отозвалась Фекла.

– Не калека, говорит, и не голь перекатная. Работник хороший и домик есть, где он с матерью-старухой проживат. Хозяйка, мол, ему нужна...

– А, девка, смотри, как сама знаешь. Сидеть тебе с нами уж дальше некуда – замуж давно пора. Смотри, а я тебе не советчица.

Походила по избе, добавила:

– Насоветую чего неладное, потом будешь меня клянуть до конца дней своих...

И приехали. Взощёл в дом один Костя, позвал на улицу вроде как на смотрины и для знакомства.

– Да у меня и одеть-то нечего, – сорвалось с языка Катерины. – Пусть уж сам в дом входит, поглядит сам, какую богачку хочет сговорить в жёны.

– Вижу, что не богачи, да и кто нонече-то богат? – настаивал сводник. – Но послушай, чё скажу: иди себе на вечерку, и мы там будем, вот и поглядишь на брата моего сродного Капитона. Да лучше гляди, а завтра мы опять заявимся и уже в дом к вам пожалуем.

Приволоклась ни живая ни мёртвая к месту схода деревенских, уселась одереvenевшая на лавочку, оглядывая украдкой собравшихся, и чуть ли не прямо перед собой, шагах в пяти, увидела Костю, а с ним того самого, что прочили ей в мужья. И ведь готовилась к худшему, а тут мужик как мужик: в хорошем полушубке, в доброй шапке и валенках, с завернутыми голяшками. Улыбается, смотрит осмысленно и твёрдо.

«Разыгрывают меня, чё ли? – ворохнулось в голове. – Где ж немтырь-то?»

Огляделась вокруг себя снова и никого более не нашла из чужаков – только эти и есть.

Разглядывала уже в открытую, не стесняясь, теща любопытство женское.

Лицо чистое, приятное. И фигура в полушубке проглядывается ладная. Держится свободно, уверенно, будто бывать на вечерках – дело для него и знакомое, и привычное.

И тот её разглядывает. Улыбается во весь рот.

Сколь так-то продолжалось – нельзя сказать. Но вот Костя вроде что-то махнул руками Капитону и тот кивнул головой. Глянул в сторону Капитон-то и будто бы чуть поклонился ей, вроде как прощался. И она, Катерина, кивнула в ответ, чувствуя притом, как заливается лицо краской. Повернулись и пошли мужики к привязанной поодаль лошади.

Ночь эту Катерине уснуть не привелось. Лежала, подложив под затылок ладошки, думала, вспоминала, грезила. Вся жизнь её пробежала перед глазами – от детства, которого у девки не было, до дней сегодняшних. И сколь ни пыталась, сколь ни выдавливала из себя такого, об чём подумалось и пожалелось бы как о невозвратно потерянном и потому дорогом и желанном сердцу, ничего не могла найти. Всё у неё было и в бедности беспросветной, и в работе ломовой.

«Да разве ж для этого на свет-то рождаются? – думалось горестно. – Да что это за судьбина моя горькая такая?» – жалела самоё себя.

А под утро наплакалась вдосталь и решила твёрдо: «Пойду за немтыря. Брошу этот колхоз треклятый, а там, может, и от немтыря сбегу...»

С тем и подалась на работу.

Вечером явились Костя с Капитоном. Прошли в избу, поклонились. Капитон прошёл к столу и положил на него отрез яркой с цветами материи. Обернулся к Катерине.

– Это, Катя, тебе на платье от моего брата. Шей и носи на здоровье, – сказал за Капитона Костя.

Прошёл к столу и сам, вынув из кармана полушубка пол-литра водки. Поставил, поклонился Фёкле, произнёс:

– Вы, уважаемая, не обессудьте мужиков: без чинов мы и к вашей семье со всем нашим уважением. Хотим вот сосватать дочку вашу Катерину за молодца Капитона Семёновича. Он хоть и не без изъяну, но и работник отменный, и специалист лучший у себя на производстве, и хозяин в дому хоть куда, и мужик справный. За им Катерина не пропадёт. И на её мы поглядели, и хорошо знаем, какая она у вас и работница, и любящая родителей дочь. И красавица писанная: приоденется, приобщается, будет на загляденье и на зависть всем.

Капитон и в самом деле оказался мужиком хоть куда. Очень скоро молодая убедилась, что руки его ко всякой работе приспособлены: табуретку ли изладить, шкаф ли посудный, щеколду какую на ворота, ведро жестяное, заплот поставить ли, стайчонку ли срубить.

Въедливость его в работе порой раздражала Катерину: семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А ты стой рядом, смотри и жди, когда надо будет поддержать чего-нибудь, подсобить там, где одному несподручно. Ну, уж после, когда дело сделано, в радость – обнова в доме ли, во дворе ли, в стайке ли. На многие года излажено и добротнo подогнано, чисто отфуговано, красиво и со вкусом сработано.

С настроением и желанием суетился мужик – это видела молодая женщина, не слепая ведь она и не бесчувственная. И стала прикипать она душой к этой чужой для неё ещё недавно семье, а со свекровью Настасьей Степановной сошлась сразу же, как, почитай, в дом вошла.

– Ты, Катерина, поспи лишку, – скажет иной раз Настасья. – Не спеши вставать, намаялась, чай, за неделю-то на работе своей, да в дому работёнки – только поспевай. А я, старая, и скотинку обихожу, и завтрак сготовлю, и деток досмотрю. Отдохни...

Или так-то:

– Ты, Катерина, прймай Капку таким, каков есть, и ему ведь несладко таковским-то жить. А ежели с добром, дак горы свернёт Капка-то. Немчура он, канешна, все наыворот понимает, всё с другого какого боку. Ти-ир-пи-и-и, милая. Чё уж тут боле...

Терпеть приходилось непомерную ревность мужика. Идут, скажем, улицей к кому в гости, ты – рядом ступай, да не приведи господи на мужика какого встречного глянуть – пыль до неба подымет: засверкает глазищами, замахает ручищами, того гляди кулаков испробуешь.

Или, скажем, чуть припозднилась на работе, а он уж и прибег к воротам нефтебазовым и затаился где неприметно, ожидая, когда покажешься и с кем покажешься рядышком.

Всю эту науку познавала не разом и не в один день. Через ругань домашнюю, через замахи и выкрики мужиковы. А с годами Капитон осваивал слов всё больше и больше, выделяя из них самые жалкие и потому до слёз обидные, ею, Катериной, незаслуженные. Обучился и подзаборным матюгам.

– Врёщ-щ! – кричал. – Обманываешь! – напирал, делая ударение по-своему на предпоследний слог. – Разговариваешь! Хочешь делать!

Страшно становилось от того крика и угроз. И что там говорить: выскакивала в окошко, в чём была. Пряталась в картошке. Ночевала у соседей.

Отходил от припадков.

Отыскивала её свекровь, уговаривала, и снова переступала она порог избы. И продолжалась жизнь дале – до припадка следующего.

## Свой угол

Давно обжилась и обнюхалась стайка. Прясла выгона, скрипучая калитка, ясли, в коих не убывало корма, – вся жизнь Майкина здесь. Стоит себе, поглядывая немигающими глазами вперёд себя, перекатывая в голове жернова своих коровьих дум.

Приходит к ней бабка Настасья, прибегает невестка её, Катерина, заглядывают подраставшие детки хозяев: бросают сенца, ласкают за шею, заглядывают в глаза, что-то лопочут на своем ребячьем языке.

Время от времени ворочает лопатой и молчаливый хозяин – долго, старательно, после него не остаётся ни свежего, ни застаревшего навоза – вычищает после лопаты под метлу, и это Майке нравится. От него, от хозяина, зависят и корма, хотя хозяйка ни в чём не уступает хозяину: косит, гребёт, подгребаёт и подбирает за Капитоном, а уж он укладывает заготовленное в копны, в зароды, доставляя всё это добро на усадьбу, и тут же укладывает самолично. Это ему Майка обязана тем, что сено никогда не отдаёт прелостью, сберегая в себе до самой весны все запахи, свойственные жаркому месяцу июлю.

В какое-то время хозяйка стала забегать к ней реже, хозяин и вовсе позабыл про корову. Работу Катерину переделывала бабка Настасья, работу Капитонову – подростские ребяташки, каковых в семье было уже четверо.

Дело же оказалось в простом: хозяева строили собственный дом. Дело хлопотное, нелёгкое и не всякому посильное. Но её, Майкина, семья могла это себе позволить, к тому же под строительство государство давало ссуды, и семья взяла в рассрочку семь дореформенных тысяч.

Поехали в лес и навалили сосен на сруб. Привезли и ошкурили, перекатав в штабель, чтобы проветрились и обсохли. В мае месяце собрались друзья хозяина, сродные братья и принялись за сруб. Сам Капитон трудился над брёвнами, доводя до требуемой чистоты и гладкости каждую лесину. Другие подымали те лесины, вырубали паз и углы и укладывали на заготовленный ещё зимой длинный болотный мох, который выпиливали из вечной мерзлоты ножовками, а затем подрубали топорами, и получались кубы неправильной формы. Работёнка, понятно, тяжёлая, зато мох, на славу, укладистей и теплее любой пакли.

Где-то к августу сруб уже стоял, выпирая в небеса стропилами, но не было дранья на крышу. Договариваться насчет дранья в деревню Кокучей ездила Катерина. Она вообще и ходила, и ездила всюду, где требовался язык и слух, и чего, понятно, не мог проделать Капитон по причине отсутствия оных.

В Кокучее драньём промышлял некий старик, имя которого давно забылось – с ним-то и сговаривалась Катерина.

К осени сруб стоял под крышей – над ней колдовал муж старшей сестры Капитона – Лёня Мурашов, вернувшийся с войны с покалеченной ногой.

До крыши настелили потолки, и всю зиму до первых весенних денечков на стройке обитал или один Капитон, или вместе с хозяйкой своей Катериной: подгонял, подконопачивал, подпиливал, подстругивал, подбивал, подстукивал. В общем, работа находилась на каждый день, а вот дней этих не доставало.

Помимо всего, в местной столярке выстругивались и вырубались косяки, изготавливались рамы, двери, плитуса, опанелка и обналичка.

Готовились доски на полы. Пилился штакетник, строгались доски на заплоты, на навес, на прочие нужды. Зимой же заготовлен был лес на стаечный сруб, а сама стайка рубилась всё в том же мае – это уже для Майки, её телков, для поросят и курей.

– Сами измотались и меня, старую, измучили, – ворчала иной раз бабка Настасья. – Прибегут с работы, как ошалелые, и на стройку: хлещутся тамако, хлещутся, а возвратятся к часам десяти-одиннадцати вечера, похватывают-пohватывают еды какой – и падают замертво на постель.

Но более всего, сокровеннее всего выговаривалась, сидя с подойником меж коленок, под Майкой.

– Ишь, – бормотала Настасья, – строить вздумали. Хорошо-то как, ведь угол свой иметь – это душе радость, да ещё какая. Хлещутся оглашенные, бьются, как рыба об лёд, на стройке и мне, старухе, радость. Може, и Капка одумается маленько, не станет цепляться к жене с ревностью. Заживут своим домишком ладненько, и мне будет где косточки сложить.

Майка ворочала ушами, вздыхала шумно, пыталась оглянуться на старуху, отчего слегка сдвигалась со своего места.

– Стой, тебе говорят! – одергивала её Настасья. – И чё с тобой, окаянной, поделалось, не стала стоять на месте...

И грозила:

– Я вот ты понужну счас чем ни попада!

Майка успокаивалась, а Настасья далее наговаривала во след за своими старческими думами:

– Сливочек сѣдни выгоню свеженьких, блинчиков напеку к обеду. Вечером тесто поставлю на печечку, поутру завтрава попекушек настряпаю, пряничков... Ребятишки небось с родителями пойдут на стройку прибираться. Щепок небось да стружек всяких – вороха немёрные. Ну а я уж в дому управляться. Мне не впервой с хозяйством. Явятся уставшие, вспотевшие, а у меня в чугушке – картошечка с мясом упаренная, молочко в криночке, прикрытой блюдечком. Хлебец нарезанный под полотенчиком. Огуречек малосольный. Славно покушают, работнички, да меня похвалят, старуху. Ох-хо-хо-хо-о-о...

И суетилась Настасья, силѣнки ещё были в бабке. В воскресный день, если позволяли переделанные и не переделанные дела домашние, торопилась в Никольскую церковь – помолиться за души умерших сродственников. За настоящий день, чтобы всё в нём складывалось как надобно. За день завтрашний, чтобы был, как у людей, с прибытком и приростом.

В церкви отдыхала душой и телом, не замечая времени. Высоко вздымались голоса певчих, ещё выше летела её душа к тому, кто был выше всех.

В этой церкви она и венчалась со своим унтер-квартирмейстером. Здесь крестили старшего, Зиновия, а за ним – ещё шестерых. Только жить осталась тройня: Петька, Клашка да Капка.

Умилялось сердечко Настасьи, глаза оглядывали старинные образа. За всех молилась – за близких, за недругов, за вовсе незнамый люд сторонний. Хотя как тут скажешь – сторонний... Вот когда лежали они с Петькой в тифу, сторонние-то и спасали. Ходили за ними, прикладывали на головы холодные тряпочки, кормили с ложечки, пичкали лекарствами. А своя-то невестушка, братки Гани жѣнушка, коровѣнку-то и умыкнула. Пошла утром в стайку – нет коровѣнки. Обегала все местечки окрест, нет родимой. И как тут жить? Голод был повсеместный, убогость и шатание в людях. Детишек нечем кормить, с себя последнее сымали, чтобы только выжить. Тогда-то и снесла на базар медаль золотую, что от мужа осталась: на самое необходимое потратила – на пропитание и отрез материи, чтобы было из чего мальчонке штаны изладить, а Клашке – юбку какую – о себе-то и не думала. А медаль ту Семѣну Петровичу дали за свершѣнный подвиг на войне с японцами в Порт-Артуре, вроде как спас от смерти какого-то высокого начальника.

Жалко было расставаться, да делать нечего – спастись надобно было, себя и деток спастись.

Спустя какое-то время подсказали соседи, что, мол, в ельнике шкура и голова коровы лежат. Пошла посмотреть – и точно, выпотрошили, злодеи, Белянку-то. Пала тогда Настасья

животом на землю, обхватила руками ту шкурёнку и пролежала безгласная, не помня себя, может, час, может, и два. Лежит и чувствует – кто-то дёргает её за подол юбки. Повернула голову, глянула из-под руки, а то Капка дёргает. И встала на ноженьки-то, а они дрожат, будто под кулями ходила. Прижала к коленкам Богом обиженного мальчонку, и стояли они так-то неведомо сколь времени.

И дальше стали жить. Без коровёнки-то собственной пришлось в батрачки наниматься – на чужих людей косить, чтобы перепала какая кринка молочка.

Вовсе тяжело пришлось Настасье. Скотинка для неё – всё одно что живой человек, с коим и поговорить можно, и время убить за работой, и с пользой силы употребить, ведь недаром говаривают – у коровы молоко на языке. Уход, кормёжка и словечко ласковое – в том вся мудрость и заключается.

Ведь чем бывает человек зависим от другого человека? Хлебом насущным бывает зависим. Вкальвает на чужой полосе – вот и зависим, потому как вырабатывает себе на кормёжку. Вкальвает где-нибудь на «железке» – и тут зависим, потому как получает казённую зарплату, которая опять же пускается на пропитание. Свободным человек бывает только при собственном продукте, потому в жизни этой всему голова – живот. А с полным животом можно и на печи лежать, да в потолок поплёвывать, можно куда поехать, можно и ворога какого ломить.

Не-ет, для Настасьи скотина во дворе – почище сторожевой башни с пушками, ведь ежели от чего и ограждаться человеку, так это от праздности. А трудящемуся человеку нечего опасаться. Он всё пересилит, от всякой напасти спасётся и других подле себя спасёт.

Правда, кроме всего прочего, есть ещё злые люди, которые плохо спят, ежели кому-то сегодня какую пакость не сделали. Ничего не пропустят мимо себя, всё узрят и всему учинят свой суд.

После того как схлынула гражданская междоусобная бойня, в которой одни горлопанили, другие шли стенка на стенку, а третьи под шумок перебивались разбоем, крестьянину пришлось некоторое послабление, и многие добрые хозяева возвратились к земле. Много было поднято и восстановлено пашни, а по деревням в пору утреннюю, росную побрели неспешно, пощёлкивая бичиками, пастухи – стала, значит, разводиться во дворах и скотинка.

Но в каждой деревне наряду с хозяевами, кои хотели жить своим трудом, было двое-трое таковых, что не оставили мысли о сладком житье-бытье за счёт других. Таким при новой власти оказались открыты все двери. Засели в сельсоветах, комитетах, перерядились в активистов и атеистов. И то коммуны какую-нибудь организуют, то ещё чего. Проедут-пропьют обобществлённое, не ими нажитое добро и снова думают думу: «Как, где и чего прибрать к рукам?»

Когда пошли колхозы, то тут уж и вовсе осатанели. Лучших хозяев повыдернули из деревень да угнали неведомо куда. А те, что поплоше достатком, поневоле оказались в колхозниках.

Ларион Белов недолго ходил в председателях – не угодил чегой-то новой власти. На его место прислали из Тулуна вовсе пришлого с чужой стороны человека. Этот по деревне ходил в брюках-галифе, кожаной тужурке, с наганом на боку. Называл себя «полномоченным». Тут же пояснял:

– Я полномоченный партии. Гнил в царских тюрьмах, проливал кровь, борясь с врагами трудового народа, теперь вот веду вас всех в новую жись, где не будет хозяев-богатеев, а где будет советская власть плюс електрификация всей страны.

Последние слова про «еликтрификацию» произносил с особым нажимом и значением. И каждый, кто посмекалистей, понимал – ради этих слов «полномоченный», которого деревенские зубоскалы живо переиначили в «подмоченного», и затевал свои речи. Очень уж, видно, хотелось тем самым то ли унижить деревенского неуча, то ли подчеркнуть собственную роль положенца.

Пошла к уполномоченному с делом – корова поднялась, к быку обобществлённому надо бы. Глянул, не поворачивая головы, эдак с боку, буркнул себе под нос:

– Тебе самой ишшо быка надобно...

– Ах ты, такой-сякой! – налетела на него вихрем. – Быка мне надобно, говоришь? Я вот тебя счас...

В руках откуда-то взялись вилы, и, ежели б не сбёг, то запорола бы на смерть.

Дня через два деревенские комсомольцы собирают собрание, и Петька там же. Встаёт секретарь Гришка Татарников и говорит:

– Повестка нашего собрания одна – об утере комсомольского билета Петром Зарубиным.

– Как это об утере? – вскочил со своего места Петька. – Я свой билет не терял – с чего это вы взяли? Счас принесу.

Кинулся домой, где в сундуке, на самом его низу, с другими документами, хранился комсомольский билет. А там его и нетути!

Долго шарил Петька в сундуке, все тряпки перетряс, но билета так и не нашёл.

Получалось, кто-то из посторонних побывал в избёнке, из посторонних, но не чужих. Лишь через несколько лет выяснилось, что билет, по наущению председателя Гаврилова, выкрала та же Ольга с пьяными дружками. Она же зачала травить обобществлённых коров, а указали на попавшего в опалу Петьку – будто это он подсыпал чегой-то в корм. Спасти от тюрьмы могло только бегство из колхоза. Бежать пришлось, оставив и домишко, и скотину во дворе, всему немногочисленному семейству. И пошли мыкаться по чужим углам уже в Тулуне. Она-то в Тулуне, а сыну Петьке пришлось выехать и вовсе куда подальше. Хорошо хоть картошку подмогли люди добрые выволить из деревни, не то и вовсе ложись помирай. Картошка и спасла от голода: ею рассчитывалась за постой у чужих людей.

Потому у Настасьи и к картошке особое отношение. Когда чистить садится, повторяет про себя слышимое в родительском доме: «Матушка-картошечка, нет тебе поста...»

Любит Настасья ту пору летнюю, когда картошка в земельке наливаясь сладостью через обращённую к свету крепкую, кустистую ботву. Чаше, чем когда-либо, ходит она тогда в огород, подолгу стоит, прислонившись к пряслам коровьего загона. Оглядывает простор огородный слезливыми глазами – глаза-то у неё видят худо, и тому тоже есть причина.

В самый разгар войны потчевала как-то внучек своих, деток Клашкиных. А чем можно было потчевать, кроме картошки?

Пришёл Капка на обед – ему поставила на стол приготовленное. Откушал, сел на порог покурить. Долго чего-то сидел, а ей, старой, привиделось, будто на работу с обеда опаздывает. Возьми и ткни пальцем в сторону ходиков, что висели на обеленной заборке, мол, времени уж много, пора на работу шагать...

А немчура чего-то озлился, подскочил к матери, подвёл грубо к самым ходикам и тычет, мол, гляди, старая, сколь времени ещё, он и сам знает, когда ему на работу придёт пора отправляться. Настырно так тычет. Хотела она сбросить руку его с плеча, и надо же было неловко ворохнуться, что растопыренные пальцы свободной Капкиной руки угодили ей прямо в оба глаза.

Одному-то маленько досталось, так как, видно, палец был согнутый, другой почти что выколол.

Долгонько потом мучилась, никакие примочки не помогали, и потеряла зрение, считай, наполовину. Один глядит вроде ничего, другой – муть одна.

С Настасьей в огород тащатся и дитёнки Капитоновы. Колька – тот ещё сорванец растёт. Зайдёт в картошку, станет на четвереньки и спрячется. И вот зовёт его бабка, вот надрывается.

– Здесь я, баба, – откликнется мальчонка, показав голову из-за ботвы.

Она к нему, а он снова нырнёт в ботву и отползёт в сторону.

– Тута я! – опять кричит.

Покудова не наиграется со старухой, не выползет из картошки.

Или с соседским парнишкой раздерутся, а она ходи их унимай. Много в те годы рожали ребятни бабы.

Будто горох, высыпят из барачных клетей – головы светлые, потемней и вовсе тёмные. По головам только и разберёшь, где свои. Залетит в дом, кусок хлеба схватит, только его и видели. Рта не успеешь открыть, мол, поешь, внучек, приготовлено ведь...

Хлопотно с ними, но в радость. Болезни бы не привязывались.

Бабка Настасья то и дело крестится, вздыхает, что-то припоминает, о чём-то печалится. Вспоминает...

В пору, когда только что купленная корова Майка стала в силу входить, – заболел старшенький. Болезни посыпались, будто кто куль развязал с болезнями-то. Одна, другая, третья, а мальчонка уж в былинку превратился. Обескровился личиком, истончился ручками и ножками. День и ночь: кхы да кхы, кхы да кхы...

Пришёл фельдшер Ян поутру, глянул и даже укол не поставил. Покосился в сторону сидевших к столу спиной Катерине и Настасье, пробормотал, будто про себя:

– Если до обеда доживёт, то хорошо...

Повернулся к двери и вышел.

Поднялись мать с бабкой, молча придвинулись к сундуку, откуда вынули чистую простынку, длинную белую рубашонку мальчонкину.

Настасья принесла в тазике тёпленькой водицы. Отёрли тельце влажной тряпочкой, обрядили, положили дитё всё на тот же сундук, который стоял в избе как раз под образом Свяителя Иннокентия, вернулись на прежнее место к столу.

Сколь так-то сидели, дожидаясь мальчонкиной смерти, – никто не знает, только вдруг и говорит свекровь невестке:

– Слышь, Катерина, чего я подумала? А не сбегать ли тебе в «Заготзерно» к бабке Варваре?.. Может, она чё поладит?..

Без слов выскочила Катерина на улицу и всю-то дороженьку летела, земли не касаясь. До этого «Заготзерно» – километра с три будет. Влетела в Варварину избушку и чуть ли на колени не пала перед старухой – выручай, мол, баушка...

Та чего-то прихватила с собой, и пошли они теперь уже длинной дороженькой, ведь Варвара не смогла бы угнаться за молодой отчаявшейся матерью.

Держит под руку старуху Катерина и всё как бы норовит убыстрить шаг. А старуха, будто придерживает молодую, приговаривая:

– Не торопи меня, милая, всё одно смерть нас не перегонит...

И дошли так-то до барака, где проживала Катерина с семьей.

Взошли, и Варвара приказывает – подать чистой воды, а сама наклонилась над мальчонкой, ощупывает тельце, чего-то нашептывает. Потом вынула из-за пазухи свечку, чиркнула спичкой и подожгла ту свечку. Подождала, пока соберётся воску подле фитилька и опрокинула тот воск в посудину с водицей. Помедлила чуток и запустила в посудину пальцы – вынула остывший воск и глядит на него, оборотясь к окошку.

Потом повернулась к хозяевам и говорит твёрдым голосом:

– Будет жить ваш мальчонка. Счас у него самый чижёлый момент, но вижу: болесь пошла на спад. Очнётся скоро, тада попоите травой, кою запарите по моему указу. Попоите трижды со словами: «Ты болесь, ты немочь, ты хвороба окаянная, ты уйди откудова явилась. Ты забудь дорожку к нашему дитёнку...»

Подала траву в мешочке, наказала, сколь сыпать и как парить. Перекрестилась на образ и – только её и видели. Своими ногами пошла без подмоги сторонней. Спыхватились занятые своими мыслями и заботами хозяйки, а Варвары уж и след простыл.

Всё, как наказывала старуха, сделали. И одыбал мальчонка. На глазах стал выправляться. Головка стала держаться на плечиках. Ручками, ножками стал шевелить. Голосок проявился.

Подошло время, и забегал по избе мальчонка и то к одному окошку сунется, то к другому прильнёт – хочется ему на улицу, а домашние не пускают. Придвинет к окошку табуретку, взгромоздится и подышит на стекло: потрёт-потрёт пальцами и глядит на заснеженную дорогу, на покрытую вздувшимися сугробами поляну. И снова заиндевет стеклина. И снова подышит и потрёт.

Так-то однажды и выдавил стекло. Соскочил с табуретки, забился в угол за сундук и примолк.

Походит Настасья по избе, потопчется и начинает соображать, что неспроста малец скрылся с глаз – вытворил чего-нибудь. Чего – не поймёт. Только спустя какое-то время и разглядела – вроде пар исходит от окошка. Подошла – батюшки! Стеклина-то выдавлена.

Заохала-заохала да пошла по соседям справиться, может, из мужиков кто дома, дак подмогут раму вынуть, стекло вырезать да вставить. Пугалась Настасья Капитонова гнева, не разбирает тогда он, кто перед ним: мать ли, жена ли, дитёнок ли. Вынимал из брюк ремень, замахивался всей мужицкой силой, бил нещадно, пока женщины не выхватят мальчика из-под ремня.

На счастье старухино, сосед, что проживал через стенку, столяр Петро Яковлев, как раз по какой-то причине пребывал дома. Он-то и справил работёнку и успел ко времени: только за дверь, а тут и Капитон на обед явился. Следом подошла и Катерина: ей-то Настасья и пересказала о случившемся.

– И чё это, думаю, Колька-то притих, за сундук спрятался. Топталась-топталась по избе – и на тебе! Стеклина-то выдавлена! Хорошо хоть Петенька в доме оказался, он-то и вставил. Оклеить теперича бы...

– Ты, мама, – озираясь на сидящего за столом мужика, отвечала ей Катерина, – пойдёшь пока в куть и замеси клестера, а я бумаги пошарю. Капитон за дверь, а я быстренько и заклею окошко-то.

Так и сделали.

Года с два не пускали мальчика к одноклассникам – всё боялись повторения болезни. А вырвался Колька и показал прыть: явился домой застывший, с растопыренными ручонками, и бабка скорее воды холодной в тазик наливает, чтобы ручки застывшие пихал в воду, оттаивать. Кричит во весь голосочек, а руки не вынимает – бабка тут же стоит, надзирает, костеря его на чём свет стоит:

– Ах ты, наказание Господне! Носят тебя черти окаянные по улице, скорее бы уж в школу пошёл, всё бы меньше носился, как Савраска!

Оттаивали руки, утихал малец – садилась к столу. Это было уже в радость бабке: каждый у неё кушал, что пожелает. Этому вот – картошечки. В разных видах: и толчёной, и круглой со сливками, и пережаренной на сале. Намнётся – и снова гонять.

Трепетала сердечком Настасья от того, что складывается иль сложилась уже семья у её Капки: хозяйка – на работе, старшая внученька в школу пошла, Колька вот-вот за ней потопает, третий своими ноженьками переступает, а в зыбке – четвёртая качается.

Всё свершается своим чередом. Старшая, Галинка, прибежит из школы – и за уроки. Колька тут же крутится, просит сестру показать буквы. Отмахивается сестра, но потом и начинает калякать, называя буквы, кои Колька повторяет за ней, будто эхо.

Сколь уж там времени прошло, а уж стал слоги выговаривать: глядит в книжку и будто читает писаное – верно, повторяет затвержённое. Известно ведь: память детская прицепчивая.

Так думает бабка, посматривая из своего угла и улыбаясь пробегающим в голове мыслям.

Летом, как водится, ходят по домам учителя, записывают детей в первый класс, и, зная о том, тянет Настасью за юбку Колька, упрашивая сквозь слезы:

– Баб, а баб, скажи, что мне семь лет... Баб, а баб...

## Юность Настасьи

У тятеньки жилось покойно и надёжно. Пока ещё не появилась на свет божий, а уж готов был окованный ребристыми железными полосами уёмистый сундук с замысловатым замком под приданое.

Таковский род был Долгих, что человеку ещё народиться, а уж хозяин молвит хозяйке:

– На базар нонече еду в Тулун. Може, куплю чего... – и поглядывал на вздувшийся живот супруги. – Сепаратор али машину швейную – деньжонки-то сёдни при мне, а завтра – кто ж его знат, чё ждёт?.. На беду не напасёшься, на радость не наберёшься, а вещь, она завсегда в цене. Хошь продай, хошь одари чадо любимое... По мне так лучше при себе держать до сроку.

– Так, так, – кивала во всём согласная Наталья Прокопьевна. – Поезжай.

Шла в куть то ли для того, чтобы скрыть накотившее ни с того ни с сего волнение, то ли в самом деле чего забыла сделать, да вот вспомнила кстати.

И купил однажды Степан Фёдорович сразу и сепаратор, и машину Зингерова изделия. Так в нетронутном смазанном состоянии и определили поближе к божнице, прикрыв бережно чистой холстиной.

– А часы кому же? – спросила как-то вернувшегося из Тулуна супруга, глянув на отливающее лаком резное изделие со стрелками и цифирью по кругу, которые Степан Фёдорович бережно, будто дитёнка малого, запеленал в чистую тряпицу.

– Все, какие ни есть, деньжонки спустил. Не пожалел нажитое непосильными трудами. Больно приглянулись мне часики. Смотри, какая благодать... – умилялся, поворачивая часы то одной стороной, то другой.

– Так кому же? – переспросила, не удержавшись, Наталья Прокопьевна.

– А тому, кто после нас с тобой хозяйство поведёт по тореной дорожке, – торжественно объявил мужик. – Висеть им на своём месте до скончания века, а может, и после скончания.

– Чё эт за диво за такое – до скончания? И какого века? – снова не удержалась ничего не понявшая из сказанного хозяйка.

– А пока жись на свете будет проистекать. Пока деревня наша будет стоять. Пока детишки будут нарождаться. Пока земля будет хлеб родить.

После таких слов Наталья Прокопьевна только и смогла развести руки да рот в удивлении раскрыть.

– Дивись, дивись, жёнушка, часы – германские, фирмы «Юнгханс», изготовлены в 1896 году. С музыкой и боем, – показывает пальцем на жестяную табличку сбоку часов, на которой выдавлено иностранными буквами название фирмы: «Junghans». – Ты ж знаешь, что я давно хотел приобрести часики. А тут сосед Травников Евдей толкует мне, что, мол, в метелёвский магазин часы привезли диковинные. Я прямо мимо базара в магазин-то и поехал. И верно: приказчик и показывает мне, как он выразился, «гансики» – так он часы называет. Фирма, говорит, такая – «Юнгханс», ну, вообщем, «гансики». До этого, говорит, были такие-то, и быстро покупатель нашёлся. Мы, говорит, ещё парочку заказали, и вот остались одни. Бери, говорит, не пожалешь. А мне они так поглянулись, так поглянулись, что выложил все, какие были с собой деньжонки, и не жалею.

И поднял к небу палец.

Изделие германское и впрямь было на зависть соседям. Резные точения по краям, снизу и сверху, три гири золочёные в виде увесистых капель воды, колечки цепочек, а на самом верху – конь, также резной, деревянный.

«Конь – это хорошо, – отметила про себя Наталья Прокопьевна. – Знать, и на неметчине народ христианский проживает, ежели лошадиное племя на часы прилаживают. Значит, чтят

скотинку-то. Опять же, купленная ранее швейная машина тож немца Зингера изделие и тож вещь хорошая».

Потопталась со своими мыслями, потопталась и принялась на стол гоношить, решив про себя: «Гансики» дак «гансики», лишние в доме не будут. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-о-о...»

Часы обрели своё место на одной из солнечных стен избы, и самые первые звуки, что раскатным гулом разошлись по углам, заставили домочадцев замереть на своих местах, а затем разом повернуться в сторону новой покупки. Разом в сей момент посетила каждого одна и та же мысль: живой человек поселился в доме, который будет за всеми и за всем доглядывать, всему и всем давать свою собственную оценку, обо всём напоминать, обо всех печалиться.

Бой часы имели низкий, протяжный, музыка же звучала только два раза в сутки – в полдень и в полночь. Был то царский гимн «Боже, царя храни», чем Долгих Степан Фёдорович чрезвычайно гордился.

– Вот покупка, дак покупка, – горделиво оглядывал домочадцев. – Батюшка царь – Божий помазанник, и его надо чтить так же, как Всевышнего и Преплагого Господа нашего Иисуса Христа.

К часам скоро привыкли, как привыкают к петушину крику, к взмыкиванию народившегося телка, к лаю подрастающего щенка.

Подрастала и Настенька. Нет-нет, да потянет матку за юбку:

– Чё это, маменька? – тянет в сторону горки прикрытых холстиной вещей.

Не противилась Наталья свет Прокопьевна, позволяла подвести себя к той горке, но холстины не позволяла коснуться ни себе, ни дочери.

Стояла, вглядываясь в широко раскрытие глазёнки подрастающей невесты и начинала сказывать степенно, с чуткой проникновенностью в голосе, сказку будто:

– Вот трудимся мы с тятенькой твоим, всяку работу делам, а для чего?

– Для чего? – словно эхо, отзывалась Настенька.

– А для того, милая моя птичка-невеличка, чтоб щастье и твоё, и твоих сестрёнок с братиками устроить.

– А зачем? – ещё шире раскрывала глазёнки Настенька.

– А затем, чтоб, когда войдёшь в года и восхочется-возжелается замуж идти, мы, твои родители, должны будем честь соблюсти – оделить тебя приданым. А приданое то должно быть по достатку нашему и не хуже, чем у людей, чтоб, знамо, прынс не сумлевался в нашей к тебе родительской ласке и участи.

– Для чего – замуж? – продолжала допрашивать.

– Все замуж идут. Потому что жись так устроена. Девкам – прынс, ребятам – прынца. Всякому своё и по достатку, и по месту в деревне. И на небесах своё место.

– Как это – на небесах?

– Больно любопытна ты, – ответствовала маменька, которой начинали надоедать распросы дочери. – Тебе на небеса ещё нескоро, так что не торопись, а там – и сама узнашь, что и почему.

Маменька говаривала и так и сяк, а интерес дочерний не иссякал, покуда не стала приходить в года и сама не начала кумекать и про приданое, и про прынса, и про небеса.

А «гансики» отстукивали своё, и каждый домочадец, прежде чем куда направиться, вглядывал на часы и так же, когда возвращался в дом, то спешил к ним же.

Поглядывала на часы и Настенька, а пока что она и в церкву с маменькой ходит, и за скотиной доглядывает, и с подружками хороваются, а всё норовит пробежать мимо зарубинской, стоящей посреди деревни, избы. А столкнётся иной раз с ихним Семёном – парнем много старше её – и будто устыдится и своего малого росточка и неполных шестнадцати лет. Девка не девка, но уже и не подросток.

– Ты чего? – глуховатым голосом спросит он Настеньку.

– А ты чего? – тихо спросит она Семёна.

Ничего более не скажут, а обоим ясно: неспроста встретились, неспроста сломился голос парня, неспроста потишел голос девки.

Помнутся-помнутся на месте – и всяк в свою сторону.

Влетит в избу, сядет к окошечку и призадумается.

Помалкивает маменька, помалкивает и тятенька.

– В года девка-то входит, – пробует иной раз говорить мужу Наталья. – Присмотрела кого, али её высмотрели. Не сглазили б девку-то, надо бы в Тулун, во храм Покрова свозить.

Степан Фёдорович обыкновенно помалкивает, слушает, что дальше скажет во всем покорная ему супруга.

– Прослышала я, будто Сёмку Зарубина отличает, – продолжает своё Наталья, – мужик давно, а бобыль. Не ровня наша-то ему.

– Ровня не ровня, а с головой парень, – подает наконец голос мужик, – не в батьку родного, балабона.

– А как сватов зашлёт? – будто испугавшись, подступает Наталья. – Как схватит да уводом уведёт?

– Не на чем...

И слышит в том ответе она усмешку, и успокаивается на мужниной руке, какая кажется мягче и теплее любой подушки.

«И впрямь, – размышляет Наталья Прокопьевна уже про себя, – на чём везти? На гнедом али на рыжем? Обе лошадёнки зарубинские – хуже некуда. Ни живые и ни мёртвые противу излишне суетливого хозяина. Не лодырь вроде, не пьяница, а всё валится из рук, всё бы языком трепать. Бабу ли встретит, мужика ли – не обойдёт. И так тебя вертит, и эдак. Сызмальства вить такой-то», – припоминает отца Сёмкиного Петра, которого знала чуть ли не с рождения.

Да и кто его не знал – быстрого, всюду успевающего, но ничего не наживающего балабона. А сын ей нравился, напоминая чем-то собственного мужа. Характерный, праздно не шатающийся, лишнего себе не позволяющий.

Прикидывала мысленно дочку к нему, ставила рядом, и всё вроде выходило – пара.

«Тьфу ты, наваждение какое-то, – переворачивалась на свою половину кровати. – Глаза смежить не даёт, такой-сякой...»

Начинала приглядываться к дочке, строгость на себя напускать, а та, будто угадав мысли родительские, и у божницы подольше задержится, и с вечерки раньше обычного придет. Иной же раз залетевшим за ней подружкам эдак притворно-равнодушно ответит:

– Ой, не хочу я чтой-то... Вечор третьего дня мне так не пондравилось, думала с тоски помру.

Отмягчает материнское сердце, и, жалеючи дочь, сама начинает гнать из избы, дескать, девичий век короток, шла бы поразвезялась-поразвлеклась.

Степан Фёдорович наружно ни во что не вмешивается, полагаясь на здравый ум хозяйки своей, но, видно, тоже держал на сердце думу, и Наталья свет Прокопьевна о том знала, полагаясь в свою очередь на последнее слово мужа.

Не им, Долгим, за кого попало отдавать Настасью. И жнейка есть, и молотилка. В работе не последние. Брусникины да Дрянные чуть опередили, так от жадности непомерной. У них же три девки, парни – Иван да Гаврила. Девки – мал мала меньше. Каждой приданое припасай, рви из себя жилы.

Но и за Устинку Брусникина не отдали бы в вечные рабы, не говоря уж о Тимке Дрянных. Этот и вовсе крученный.

В другую какую деревню отдать – и того жальче.

«Даст Бог – обойдётся», – успокаивала себя, ещё больше страшась за старшую.

– Присмотреть бы заранее, за кого отдать Настасью-то, – не выдержала как-то Наталья. – Всё спокойней было бы...

– Цыц, баба, – нарвалась на грубое слово, – придёт время – увидим. Не запрягай лошадь позади саней.

– Чё ты, чё ты, родимый, – поспешила успокоить мужа, – так это я с глупу...

Видно, самой девке решать, за кого идти, и вопрос этот у Долгих больше не обсуждался.

Сёмка тем временем подался в работники в деревню Манутсы, о чём Степан Фёдорыч заметил, что «мерин кобыле не пара». И нельзя было понять: Семёна с его отцом имеет в виду или Настасью с Семёном. Скорей всего, первое, потому что спрашивал, как бы меж делом, наехавшего свата из Тулуна о деревне Манутсы, в которой никогда не был сам, и о том, справно ли хозяйствует некто крестьянин Распопин и как обходится с работниками.

Сват в самом деле знал Распопина и отозвался с одобрением.

– Плата у него така, – говорил, – год пробыл в работниках – и хошь хлебом бери, хошь корову веди, хошь лошадь взнуздавай. И земелька имется, и масло бьёт, и кузня своя. Но особенно лошадей любит. Самые справные лошади у его. С десяток держит...

– Ну-ну, – молвил на то Степан Фёдорыч. – И я бы подразвернулся, да девки, вишь, одне... Помрёшь и не будешь знать, на кого нажитое бросить...

– Тебе, Фёдорыч, хныкать-то не пристало, можешь жить. И парни у тебя есть. А девки?.. Ну что ж, коли судьба. Тоже золото, ежели от добрых родителей.

Выпили сваты по рюмочке на высокой ножке с серебряной насечкой по стеклу – старинные, дедовские. Сидят, толкуют неспешно.

Настя тем временем раз пять мимо пролетела, и, верно, не без умысла.

– Ты чего, егоза, леташь, юбками шуршишь? – прикрикнул было отец. – Во дворе бы чего поделала...

И улыбнулся своей редкой по красоте улыбкой – короткой, но которая ложится в память надолго, потому что в ней – весь человек. Неустанно трудящийся, живущий достойно и потому знающий себе цену. Привлёк к себе дочь, погладил по голове, легонько подтолкнул к дверям.

Со своей приговоркой всякое утро встаёт Степан Фёдорыч: «Рано встанешь, по двору пройдёшь – рупь найдёшь. Ещё пройдёшь – и ещё найдёшь». От того и хозяйство его крепкое.

Наталья Прокопьевна и того раньше поднимается с постели. Никогда в их избе не знали вчерашних щей, каши, чаю. Только с пылу с жару. Про гостя какого и речи не могло быть – за позор бы сочли поставить на стол несвежее. И в этом тоже сказывалось уважение и к себе, и к людям.

Нанимали Долгие работников, кормили от живота, платили за работу, чтоб без обиды.

В работе сами подавали пример. И земля родила. Как ей не родить, ежели, пока через поле идёшь, все ноги надсадишь – так вспахана, проборожена, обихожена. И скотина водилась, тучнея. В своё время приносила приплод.

Хорошо жилось Настасье, а на сердце неспокойно. Бегаёт мимо зарубинской избы чаще, чем прежде, бывало, когда Семён с родителями жил.

Говорили, будто в свободное от работы время к дьячку в соседнюю деревню учиться грамоте ходит. А, может, высмотрел кого?.. Вот бы приехал скорей, вот бы налетела да за чуб его чёрный... И сладкое, и горькое, и радостное, и гневное накатывает единовременно, и ничегошеньки ей с собой не поделать.

И набежала эдак-то на Семёна в рождественские захлёсты, всеобщие разгульные дни. Испугалась даже. На месте замерла. Под согнутой дугой Семёновой руки – книжка.

Откатило сомнение от сердца. И верно, книжечем стал.

– Читаешь? – спросила чуть с придыхом, будто умаялась бежать. – Псалтырь? Молитвы Божьи?..

– Да что ты, – выдохнул глуховатым голосом из себя парень, тоже как будто летел со всех ног. – Сочинитель граф Толстой это. Книжка называется «Война и мир».

– Какая война?.. Расскажи!.. – ухватилась за рукав полушубка и с боку начала ловить глазами его глаза.

И сами того не замечая, пошли они за край деревни, за кладбище, к скованной холодами речке Курзанке. Туда, где их уже никто не мог видеть. Знать, пришло время Настасьино, как давно уже пришло время Семёново.

– Душа моя, Настенька, – шептал на ухо. – Только одна ты такая в Афанасьеве.

– Только в Афанасьеве? – переспрашивала не без лукавства.

– Да что ж это я, – краснел парень. – Ты единственная на всю Тулуновскую волость, а для меня – дак и на весь уезд, а то и на губернию.

– На губернию? – ахала.

– На Рассею и на весь белый свет.

– Ну уж, скажешь тоже, – сомневалась. – Чудно это – на весь белый свет...

Сидели, обхватив друг дружку руками на коряжинах. Бродили узкими тропинками вдоль речки Курзанки. Сидели на крутом берегу, глядели на белый в снежных кружевах лес, да не видели ни деревьев, ни речного изгиба, ни тальника – ничего.

Не заметили, как придвинулись сумерки. Спohватившись, бросилась со всех ног Настасья до избы своей, страхась гнева родительского за долгое отсутствие своё.

Трудился теперь Семён у Распопина с большим напряжением, потому приезжал чаще, бывал в Афанасьеве дольше.

Не осталась их связь на деревне незамеченной, толки пошли, пересуды. Дошли и до уха родительского, проникнув через заплоты и стены усадьбы Долгих.

– Чем Устин-то с Тимофеем хуже парни?.. – осмелела Наталья Прокопьевна. – Уж по работникам-то не скиталась бы...

Притворно прижала конец платочка к глазам. Как водится, нарвалась на редкую, но чувствительную грубость мужа:

– Цыц, тебе говорю! Звери они, а не люди. Хищники! И род их весь льстивый да хищный. За Сеньку лучше отдам Настёну и знать буду, помирая: за хорошим человеком она. Верным! А в силу он войдет, я чую, во-ой-дё-от... Хватка есть хозяйска. Совесть... По правде будет жить. По сердцу.

И заскулившей супруге примирительно:

– Ладно тебе. Не потаскуха ж кака наша Настасьюшка, – пускай погулят, поневестится. Там поглядим, за кем ей быть.

Ничего не сказали ей родители, а пересуды отпали сами собой.

И ещё год минул. И стал собираться Семён на службу царскую, заручившись словом девичьим, ждать его до срока.

А когда съехал до Тулуна, где должен был погрузиться с другими новобранцами на гремучий поезд, Степану Фёдоровичу пришлось прикрикивать и на девку, и на бабу. Да без толку. Не остановил его окрик воя женского, и хлопнул дверь, оставив прижавшихся друг к другу дочь и мать.

## Настасья и Устин

В первый день Рождества пришёл братка Ганя. Поставил кринку молока на стол, потрехал за волосы Петьку, сунул в руку Клашке леденец. Словом да лаской выпроводил на улицу.

– Чё не разболакашься-то? – спросила из кути.

– На минутку я, Настасьюшка, – гости должно наедут.

– Кто же?

– С Заводу кум с кумой.

– Чё там Ольга не управится? Посиди уж, я счас стопку поднесу в честь праздничка.

Гаврила засопел, начал раздеваться. Она тем временем давай на стол собирать. Из курятника достала четверть самогона почитай годичной давности. Налила в ковшик, чтобы четверть не ставить.

Села напротив. Налила брату, себе.

Гаврила выпил, по-хорошему крякнул, вытер усы.

– Крепка, зараза, – потянулся за огурцом, – у тебя только такая, нигде боле.

– Не подговаривайся, братец, вижу – с новостями пришёл...

– Не спрашивай, сестрица, дай закусить мужику, окосею – баба ухватом с избы понужнёт.

– Ну, так что ж, тебе не впервой косеть.

– Ладно тебе, хватит поминать прошлое.

– Простое ли? – засомневалась Настасья. – Давно ли пузырил, шляясь по деревне с пьяными дружками?

– Было, да сплыло, – отозвался грубоватым баском. – С семьёй живу, работаю, ни у кого на шее не сажу.

Не спросясь, налил себе ещё, так же молча выпил. Не закусывая, полез за кисетом.

– Ты, Настасьюшка, вопче-то, угадала – с новостью я, – перевёл разговор в другое русло. – С кумовьями Устин Брусникин приезжает, передавал, чтоб в избе была – сватать приедет.

– Вот так-так, – недобро отозвалась, поднимаясь с табуретки Настасья, – тебя счас турнуть или когда с Устином придёшь?..

– Да успокойся ты! – почти выкрикнул Гаврила. – Сядь и послушай пока. Я твой ближний сродственник, хочу добра тебе и твоим ребятишкам.

– Ну-ну... Выкладывай.

– Ты погляди, чё за эти годы с тобой случилось – кожа да кости! Семён, канешна, был мужик правильный, такому памятник на могилке поставить мало, и тебя при новой власти надо на руках носить, что не мешала ему дело делать да ребятишек блюла. Но власть-то – власть, а тебе зубы на полку класть?

Гаврила быстро обогнул стол, мягко за плечи усадил её на место. Сел сам, тут же потянувшись за ковшиком.

– Хватит глотку наливать, – осадил Настасья. – Говори лучше, я слушаю.

– Ты его помнить должна, он до Семёна сватался, да ты матроса захотела.

– Не твоего это ума дело! – опять вскочила Настасья.

– Да я не к тому говорю, а к тому, что помнить ты должна Устина-то. И в деревне он часто был, только не знаю – видела ли?..

– Как не видеть...

С самой прошлой осени надоедать начал. Она с поля, и он тут как тут, она к Ольге, и он там сидит.

И Гаврила о том не мог не знать – хитрый братец, давно уж спелись с Устином, только не знали, как подъехать.

– Должна, говорю, была видеть-то...

– Ну?

– Мужик он справный, хозяин, не пьяница, не бабник и к тебе присох, согласный взять с тремя ребятами.

– Работница ему нужна!..

– Да работницу он и в Заводе мог бы сыскать – тебя ему нада. Не могу, говорит, без неё, по сердцу мне Настасья...

– А я тебя сейчас ухватом по хребтине – вот полюбовно и договоримся...

Прислонилась к печке, задумалась.

К братке Гане у Настасьи отношение особое – жалела она его, горемычного. Отчего горемычного – на сей счёт соображение у неё также имелось, хотя в глаза никогда подобным образом его не прозывала.

Вернулся с германской калеченным – ногу прострелили ему в той войне. Ходил с палочкой. Но нога – ногой, эту напасть можно превозмочь – мало ли таких-то мужиков взвёртывалось с фронта. Душой был калеченный братка, насмотревшись на кровь, вдоволь покормивший вшей окопных, вдосталь поголодавший и всласть пострадавший мужик.

Другое мучило. Видел, понимал, что русское воинство, к которому принадлежал сам, способно было сломать хребет не токмо немцу, а какому врагу пострашнее. Русские солдаты лезли вперёд, даже ежели нечем было стрелять – на штыки полагались, да на собственное бесстрашие. И ломали врага. Гнали постылого, радуясь каждой малой удаче. Но вот командиры чего-то недопонимали, иль их самих дурили более высокие начальники: отобьют передовые позиции солдаты, напитаются кровушкой павших земляца там, где только что кипела жестокая схватка, зачнут обосновываться и осматриваться, чтобы идти дальше, а тут и приказ – отступить. И сколько ж можно отступать от, по сути, поверженного вражины – непонятно. И роптали солдаты, тут уж приступали к горлу со своей агитацией то большевики, то эсеры, то анархисты, то ещё какая-нибудь рвань. Иные бежали с позиций к своим деревням, иные поддавались на агитацию, иные просто замыкались в себе, не прибываясь ни к какому берегу. Этим было тяжельше всего – лучше уж в огонь кинуться, на пулю иль на штык вражеский напороться. Эти вот и являли в боях чудеса храбрости, только храбрости пустой – не на пользу ни себе, ни Отечеству.

Потому и пришёл с войны сам не свой: за что ни брался, всё валилось из рук. Подолгу задумывался. По старым дружкам не ходил, да и дружков-то осталось – всего ничего. Минул месяц, другой – чернел лицом, глядел отрешёнными от всего глазами. На вопросы отвечал односложно, часто невпопад.

Пробовал прикрикнуть тятенька, прижимала уголки платочка к глазам маменька – оставался безучастным. И однажды явился к сестрице с бутылкой в кармане. Молча сел за стол, так же молча налил в стакан и молча же выпил. Пододвинула к нему тарелку с каким-то варевом, тыльной стороной ладони отодвинул.

С того дня запил. Страшно, запойно запил, спустив аж трёх лошадёнок, коих воровски свёл со двора родительского и продал в соседней деревеньке Никитаевской. И сгинул бы, да однажды не выдержал такого позора крутой характером тятенька Степан Фёдорович: запер сына в бане, на двери повесил тяжёлый амбарный замок. В довесок – рамы снаружи досками заколотил. Неделю держал Гаврилу в бане на одной воде. Убедившись, что тот протрезвел окончательно, выпустил ранним июльским утром и приказал садиться на телегу – семья готовилась ехать на покос.

– Не наладишься жить по-человечьи, своей волей порешу, до смерти порешу, – молвил, глядя вперёд себя.

Все, кто был рядом и слышал хозяйскую угрозу, разом повернули головы в сторону Степана Фёдоровича, ни у кого не осталось сомнения насчёт того, что угроза будет в точности исполнена. Наталья Прокопьевна даже придвинулась к сыну, взяла того за руку, и Гаврила

почувствовал, что тело матери подрагивает – видно, плачет сердечная. Молча плачет, дабы муж не увидел и по своему обыкновению не остудил резким словом её неуёмную любовь к их совместному чаду. «Телячьих нежностей» этих Степан Фёдорович не любил, и в семье Долгих не принято было выказывать какие-либо особые чувства к детям, а тем более – на людях. Гаврила на материнский порыв ответил лёгким прикосновением руки к плечу Натальи Прокопьевны, и скупой ласки сына было достаточно, чтобы мать успокоилась.

Радостно было ей глядеть на Гаврилу и на покосе: обливаясь потом, махал косою мужик, насколько хватало сил. Когда садились обедать, ел от пуза, отъедаясь на родительских харчах, а ночью отсыпался в душистом сене. Даже хромал меньше, а может, не хотел показать излишней слабости и терпел мужик, превозмогал боль – о том никто не ведал и про меж собой никто не заикался.

Косил глазом в сторону сына и Степан Фёдорович и, видимо, оставался доволен результатами своей отцовской «науки». А как-то вечером, уже перед тем как на следующий день выехать с покоса, заметил вполголоса супруге, мол, его «воспитание кнутом и батогами» не в пример действенной её слёз и уговоров, на что Наталья Прокопьевна молча кивнула головой.

– Так-то будет с него, – прибавил, подняв к небу палец, Степан Фёдорович. – Не усвоит мою «науку», выгоню к чёртовой матери из дому – пускай где-нибудь в канаве подышает.

До призыва на германскую жениться не успел, поглядывая в сторону Белых Ольги – девки спелой и слишком уж вольной на язык, что не нравилось родителям Гаврилы, и оба они были против такой невестки. Про таких-то говаривали: «бой баба». И нельзя было понять – в осуждение ли говаривали, в похвальбу ли. Крутила как хотела парнями, особенно безусыми, каким в ту пору был и он. Смеялась звонко, раскатисто, задирая при этом голову к небу и выставляя на обозрение высокую грудь.

Таскался за девкой Гаврила, торчал у заплота усадьбы, заглядывал в окошки, и о том Ольга хорошо знала. Неведомо, чем бы всё это кончилось, но наступил 1914 год и Гаврилу призывали в армию. Не успел парень отъехать от Тулуна на гремучем поезде, как Ольга выскочила замуж, да за такого же призывника, что и Гаврила, только прибранного чуть позже. Однако Гаврила возвернулся, пусть и калеченым, а безусый мужёнок Ольгин так и остался безусым, потому как его убили чуть ли не в самом начале войны.

Гаврила зазнобу свою не позабыл и, как ни противились тятенька с маменькой, привёл однажды вдовицу в дом, заявив, что будут они с молодой женой жить отдельным хозяйством, для чего тятенька должен отделить ему некоторую часть от хозяйства своего. И стали нарождаться детишки. Видно, и молодая поспела, и мужик стосковался на фронте по женской ласке.

Не спорил Степан Фёдорович, решив про себя, что так-то, может, будет и лучше, чем не привязанная ни к чему путному, постоянному жизнь уже зрелого мужика. Так и почал братка своим углом, и вроде бы налаживалась его совместная с Ольгой жизнь.

Мало-помалу родители попривыкли к новому положению сына как человека женатого, принимали в доме не шибко желанную невестку, ублажали внучат. А сам Гаврила держал себя с ними так, как будто ничего в их общей на всех жизни не случилось. Крестьянское же дело, к каковскому привязан был с детства, складывалось само собой, благо тятенька в своё время приучил его ко всякой работёнке.

Совсем выпивать Гаврила не бросил, но хватался за рюмку уже с оглядкой, правда, Ольга его не одёргивала, а напротив – сама была не дура выпить, что опять же не нравилось свёкру со свекровью, ведь в крестьянстве женщины держали себя строго, а уж о спиртном и речи не могло быть.

Грешно было Настасье обижаться на братку, один он помогал ей: телегу настроит, смажет, хомут подладит, заплот поправит, косы отобьёт.

Избушку, в какой проживали, ещё Семен купил у старухи Ивленьи: отдал десять пудов хлеба да телка-однолетка.

Пока хлопотала о теле покойного мужа, избушку её чужие люди и заняли. С боем отстаивала своё право на жилище Настасья, и опять же подмог братка. Нацепив пару медалек, что получены были им за фронтовые заслуги, шагнул в дом к непрошеным хозяевам с дробовиком в руках и тех только и видели. Вернулся к сестрице со словами, мол, иди, занимай углы, хозяйствуй...

Привела ребятишек, узлы с барахлом принесла, печь затопила, а она чадит. Полезла – батюшки!.. Середина-то вся провалилась...

Обливаясь потом, приволокла на себе от речки камень в пуда три, положила на кирпичи да глиной обмазала. Так и начали жить. Избушка ветхая, да своя: два входа – со двора и с улицы, в сенях – крылечко в три ступеньки, прясла – так и так; напротив – Беловы, поодаль – Котовы, за огородом – Травниковы.

И Капка вроде стал поправляться, ножками потихоньку переступать. Покряхтывая, вошёл с улицы Петька, свалил возле печки охапку берёзовых дров. Потоптался, будто мужик, исподлобья поглядывая на мать.

– Там кампания валит, к нам, видно, идёт...

– Кто? – всполошилась Настасья.

– Дядя Иван с теткой Лукерьей, дядя Ганя с теткой Ольгой и дядька тот, с которым ты давеча у колодца стояла, да ещё какие-то...

– Вот нечистая несёт, прости меня Господи... Угощать-то чем буду?..

Выскочила, сама не ведая зачем, в сенцы и попала прямо в объятия невестки Ольги, браткиной хозяйки.

– Чё забегала-то, чё забегала? – задышала та ей в ухо дыхом от принятой стопочки наливки. – Встречай кумпанию, за стол сади да покрепче чего. На вот...

Сунула узелок, видно, пирожков с ватрушками. Сама повернула из сенцев на крылечко, где уже топталась незваная-нежданная «кумпания», зазывая певучим голосом в избу.

– Идите, не робейте, ухват я у хозяйки отняла, да скалку та успела припрятать...

Послышался сдержанный смех мужиков, и через минуту человек шесть снимали полушубки, дохи, шапки и платки. Проходили к широкой, стоящей ближе к божнице лавке, прежде чем сесть – крестились.

– Прости ты нас, – говорила за всех Ольга, – знам, что незваны, но теперя ничё не подевать. Не гневись на нас и не гневи Бога – праздник вить большой, потчуй чем есть.

– Да уж, – в тон ей отвечала оправившаяся от волнения хозяйка. – Чё уж теперь, сидите да ждите – ничё у меня для вашего приходу не сготовлено. Не помышляла о гостях...

Сказала сие, знамо, для форсу, по стародавнему обычаю в такой большой праздник, как Рождество Христово, всякий мог наведаться, и не угостить считалось великим грехом. Потому и щей чугунок томился за заслонкой зева русской печи, и сырники сладкие творожные ожидали своего часа в кладовой на жестяном листе, и огурчики, и грибки, и брусника, и в самоваре тлели уголёчки: только раздуй – и запыхтит-засопит толстопузый... И юбка кашемировая была на ней, поверх которой навязан чистый фартучек.

Сновала из кути да к столу, от стола да в куть без показной суетливости, а с достоинством, отвечая коротко на шуточные слова братки. Статная, хоть и небольшая росточком, сохранившая полноту груди и упругость бёдер.

– Ах, сестрица, ах, ненаглядная... Куды там моей Ольге до тебя, – поворачивался к мужикам братка, – всем взяла!..

– Ку-уды мне, – с деланой обидой в голосе отзывалась Ольга. – Родная сестра завсегда краше опостылевшей жены...

Остальные сдержанно посмеивались, искоса поглядывая в сторону стола и отмечая про себя, что уже всё на своём месте, остаётся дожидаться приглашения хозяйки, перекреститься

и с благословения Божьего принять первую рюмочку крепкого хлебного самогону. А там и пойдёт всё своим чередом.

И по рюмочке первой выпили и закусили, пора бы по другой. Но вот, неожиданно для всех, а больше всего для Настасьи, встал со своего места Устин Брусникин и, глядя куда-то ей в плечо, проговорил твёрдо:

– Сватов бы нада, Настасья Степановна, да, видно, я не в тех годах, чтоб женихаться-хоро- водиться... При всех вот твоих сродственниках хочу сказать: давно, давно желаю видеть тебя в своей избе хозяйкой полновластной и детишек твоих готов пригреть, будто родной отец...

И уже тише, просяще, неуверенно, заглядывая в её тронутые скорбью глаза:

– Иди за меня... В Завод съедем, жить вместе зачнём...

Хорошо молвил, и Настасья рада тому была в душе.

Но как ответить?.. Как ответить, ежели не улеглось, не перекипело в ней всё то, чем жила доселе – и с Семёном, и без него?.. Чем мучилась, от чего страдала, чего страшилась и что свершилось, чем собиралась дожить остаток жизни своей около детей своих, и ради детей же не помышляя об ином и не доверяясь никому в самом потаённом, сокрытом в самой глубине сердца?.. Только Бог, Единый Всевышний и Милосердный, только Он и мог читать в её сердце, скорбящем и безутешном. Всеблагий и Всезрящий...

Слова нашлись, и в том она тоже усмотрела перст Божий. Встала напротив, некоторое время спокойно глядя в черты лица будто незнакомого ей мужика, в общем-то и впрямь мало знакомого, в её жизни – стороннего... Молвила:

– Не гоню. Но и не торопи. А за честь – спасибо...

И поклонилась низко.

На том сватовство и закончилось. Только Ганя подзадержался, помял её за плечи, не найдя слов, заковылял через порог.

Скупая на слезы, не выдержала на сей раз Настасья, добрела до кровати и плюхнулась всем телом на мягкую родительскую перину, заброшенную поверх старым атласным покрывалом, справленным ещё тятьей и мамой в приданое любимой своей дочери Настеньке лет эдак около тридцати назад, когда бегала она по двору несмышлёной девчонкой.

И через вещи эти – перину и атласное покрывало – сообщилось, видно, истерзанной, настрадавшейся душе её тепло родительской ласки, дошедшей из-под надгробных камней старого деревенского погоста, где успокоили свои косточки Степан Фёдорович и Наталья Прокопьевна на год раньше Семёновой гибели – в семнадцатом. Почти враз померли в тот год они и легли рядом, под единым камнем.

В крестьянстве редко надолго хозяин переживал хозяйку или хозяйка хозяина. От того, видно, что единым духом жили, по одной житейской тропинке ходили, единое дело делали, единую думу думали, единую беду ли, радость ли чувствовали.

На своих ногах помирал человек, никто ни за кем не ходил, никто ни с кем не мучился, никто никому не был в тягость. Потому и память о сошедших в могилу была крепкой и чистой. С благодарностью в сердце жили – за свет, за работу, за детей, за родителей. С благодарностью принимали смерть, от дедов переняв святую веру в то, что всё во благо – и самое жизни начало, и самая её середина, и её неизбежный конец.

Но и оттуда, из погребной дальней дали, из-под тяжёлых камней и лиственничных крестов продолжали в тлении своём греть души тех, о ком более всего печалилось сердце в их земной жизни. Разрастались раскидистыми берёзами да буйной травой, поддерживая во всяком живущем веру в вечное и непреходящее.

Но и берёзы старились. И трава перерождалась в пырей, а всё не угасала память о сошедших в небытие, всё где-то кто-то, ну хоть единая родная живая душа нет-нет, да и вспомнит, призадумается, опечалится – в светлой ли радости за полноту счастья жить, в беспросветной ли скорби по утраченному, чему-то большому и невозполнимому.

Устин Брусникин живность держал на глухой заимке. Сразу после окончательного утверждения Советов в двадцать первом часть скотины пустил на мясо, чтобы выгодно или продать, или выменять на одежку и прочую необходимую в хозяйстве справу.

Война будто не коснулась его: приходили партизаны, агитировали – ссылался на ранение, полученное в германскую. От белых прятался на заимке. Между делом распахал целик, но сеять ничего не сеял, соображая про себя, что все его труды могут пойти насмарку.

А тут развернулся – бояться было некого и нечего. Белочехи, взорвав на пути отступления мост через реку Ию, свершили тем самым последний в своем бесславном походе акт разрушения и вскоре были выдворены за пределы государства, Колчака большевики расстреляли на Ангаре в Иркутске.

Слухи обо всех этих событиях доходили с солдатней, возвращавшейся к своим избам, да от бедняцких горлопанов, хозяйничающих в поповском доме.

Скотину Устин побил из политических соображений, отлично понимая, что лишнее всё равно отберёт новая нахрапистая власть. Но и того, что оставил, хватило бы на иную многодетную семью.

Возвращался с поля усталый, злой, садился на лавку у окошка, придирчиво наблюдая, как сухопарая, изработавшаяся Ульяна налаживала на стол.

Из мужиков знался более с Тимофеем Дрянных от того, видно, что оба они ещё смолоду лютой ненавистью поглядывали в сторону Сеньки Зарубина – парня статного, спокойного и, как казалось, гордого какой-то своей особой внутренней силой.

И в самом деле, была в том парне сила, не в руках могучих и упругости крутой груди, а в ином чём-то, понять чего не дано было им, деда, а потом и отцы которых первыми на деревне захватили лучшие пахотные угодья и близкие сенокосные луга. Не вертелся Семён на вечёрках перед девками, не тряс чернявой головой, не заходил в плясе, а если и появлялся, бывало, в кругу сверстников, то всё вроде особнячком, только и позволяя себе изредка короткие взгляды в сторону дочки Степана Долгих.

Характерной, надо сказать, девицы, хотя ещё и не вошедшей в года.

И было в кого ей иметь характер. Степан Фёдорович, тятя её, пониже стоял от Дрянных и Брусникиных по богатству, но такой человек был приметный, что ежели идёт по деревне и с чего-то не всхочет глянуть на встречного, то и не глянет. А глянет – не то чтобы рублём одарит – кланяться подмывает за его внимание, да бормотать слова благодарности во след.

Но удивительное самое, может быть, было в том, что никто не таил на него обиды – уважали, не зная сами, бог весть за что.

На сходы сельские, будто нарочно, приходил, чуть припоздав, а уж рот откроет – и говорить другим вроде бы уже незачем и не о чем.

От такого вот корня происходила Настя, породниться с таким корнем сочли бы за честь не только афанасьевские, а из более дальних, усадистых сёл, более крепкие хозяева.

И роднились. Самая младшая, Авдотья, была отдана за первого афанасьевского богатея – Демьяна Котова. К средней, Мавре, ездили договариваться из самого Тулуна. Но не шла Мавра, и здесь была своя причина, о коей рассказ будет впереди. Ну а Настеньке, этой, видно, дано было неопределимо редкое право решить судьбу свою самолично – по сердцу девичьему, по душе христианской. Так будто бы молвил сам Степан-от Фёдорович супруге своей, Наталье-свет Прокопьевне, и всяк тому верил, потому что Степан Фёдорович по причине любой говорил только раз.

Так оно впоследствии и сложилось: сунулся было Устин – чуть повернула голову в его сторону, залепетал чего-то Тимофей – чуть скосила глаза. И засела «в девках» до того глубокого времени, когда и телу, и душе давно приспела пора рожать детишек, петь над их колыбелью немудрёную материнскую песню – печаль-радость.

И никто не мог понять – отчего.

Сёмка Зарубин тем временем два года батрачил в другой стороне от Тулуна – в Манутсах, вернувшись с парой добрых лошадей, продал их и своей волей пошёл служить службу царскую вместо уже многодетного младшего брата своего, Ивана.

И ещё на четыре года канул. А когда объявился, уже после японской в 1906-м унтер-квартирмейстером и с золотой медалью на груди, то тут и сватов в дом Степана Фёдоровича направил. И переполненная спелостью девка, так будто бы сказывали, на грудь ему без всяких слёз и разговоров кинулась.

Тут-то и очухалась деревня, тут-то и забалабонила, мол, во-она кого девке надобно было...

И свадьба. И мужняя жена. Избёнку купили в Тулуне, где, как стало известно, Семён подался в путевые рабочие на железнодорожную станцию.

И скорые вести стали доходить до деревенских, будто веру какую-то принял, ещё будучи в Порт-Артуре, и теперь мутит народ, забивает головы таким же дуракам, как и сам, ненужной трудящемуся человеку по-о-лити-и-кой...

Но живут они с Настасьей будто бы ладно, имея то же, что и всякая крепкая деревенская семья, – пару лошадей, тройню коров, ну и прочую необходимую в хозяйстве справу и живность.

А там, как и положено, детки пошли один за другим. И в деревню иной раз наедет к родителям в Афанасьеве с детьми на неделю-другую.

Не спесивясь, никого не сторонясь, а с Устином так даже иной раз не прочь перемолвиться словом радушным, но душевно сторонним, как и положено, венчанной мужней жене.

И Устин к той поре был обженён родителем на взятой с Заводу Ульяне Полиной.

После встреч таких он чаще напивался, реже, если было заделье на родовой заимке, садил в сани, в телегу ли Ульяну и вёз с глаз долой. И видели будто люди, как, отъехав подальше, сдёргивал нелюбимую жену с саней ли, с телеги ли, перехватывая обе её руки тугим узлом длинных вожжей. И вёл эдак-то до самого места, идя следом и нахлёстывая время от времени по Ульяновой спине приготовленным заранее берёзовым прутком и покрикивая, будто Ульяна была вовсе не человеком, а лошастью.

В один год, то ли весенней, то ли осенней порой, съехали в Завод на постоянное жительство, взяв, конечно, положенную долю хозяйства от родителей. В одночасье преставились женины отец и мать, и по причине отсутствия других наследников к Брусникиным перешли и дом, и заимка, и всё прочее, что было у покойников и чем жили они на этой земле.

Здесь-то и развернулась вся его жилистая, жадная и до работы, и до богатства натура. Теперь уже не битъём изматывал жену, а работой чёрной. И какой прок было добивать единственного бессловесного работника, ежели жила в нём потребность выделиться в первые во всем Заводе на зависть афанасьевским и в усладу себе, как думалось, обойдённому незаслуженно вниманием приглянувшейся смолоду девке? Не было проку, и это Устин смекнул скоро. И в самое время, потому как Ульяна, хоть и была бессловесная и во всём покорная мужу, но всерьёз подумывала о тёмных изворотах перекастистой Ии...

Высохла раньше срока Ульяна, обернула тёмным платочком голову и замолчала на года. Молвит Устин – пошла. Глянет – замерла на месте. А способность рожать, видно, выбил из неё остервенелый мужик ещё в зачатые их совместного жития. Может, и не хотела, тоже по-своему, по-женски озлобившаяся, и заморила утробу свою слезами да наговорами. Какая жизнь, ежели по потребности разворачивал, как валёжину, и отваливался, будто выпил лагун студёной воды. Здоровый и всегда – чужой.

Не ласки хотелось Ульяне – о том и думать не смела. Признания за ней права на половину супружеской кровати хотелось, того признания, какое есть во всякой семье, даже если красну девку выдали за урода.

Родители её оставили столько, сколько за жизнь не пережить. Крепкий пятистенок, под единой кровлей завозня, стайки для скотины, для свиней. По другую руку, тоже под единой кровлей – амбар с ларями для муки и зерна, загородка для всякого инструмента. Здесь же вся лошадиная справа и ещё один уже небольшой амбар и далее – летняя спальня и погреб.

Посмотришь с улицы через бревенчатый забор – ничто не бросается в глаза, но тут же почувешь – здесь крепко устроено и облажено хозяйство.

Понятно, подзапустили старики-то хозяйство, но Устин ещё при жизни тестя с тещей нередко наезжал в Завод, жил по дня три, вкладывая в приходящую в упадок усадьбу с утра до ночи всю свою молодую силу. Знал потому что – его будет, не унесут ведь старики с собой во гроб.

Была и заимка, правда, попроще строениями, но с удобными пахотными, сенокосными и выпасными угодьями.

С переселением в родительскую избу как бы схоронила себя заживо Ульяна – не надеясь на перемены, не веруя в переменчивость своей загубленной на корню судьбы.

Понимал её положение и Устин, поглядывая теперь из хозяйского угла на зауценно-суе-тящуюся у печи бабу, так и не ставшую за десять лет совместного проживания своей. Поглядывал, как на печь, около которой та суежилась, как на всхрапывающего за окном коня, как на улёгшегося мордой на лапы цепного кобеля.

Думал думу о своём, доступном только ему одному.

Может, только когда наезжал со своей бабой Матрёной давний дружка Тимоха Дрянных, в избе четы Брусникиных и селился жилой дух. Мужики усаживались на своей половине, бабы – на своей, и всяк по-своему отводил душу.

– Слышко, Устин, – хрипловато клонился к приятелю Тимоха, – навезла чего-то тятке с маткой, а Степан Фёдорыч ей швейную машину отвалил. Моя бегала, так все спознала. Малец-то, Петька, вроде и не похож ни на Настю, ни на ейного политика. А девчонка – вылитая Сенька, так и глядит исподлобья.

Отвалился, хихикая.

Устин сдерживал себя, хорошо зная дружка закадычного, – неспроста говорил тот ему про занозу.

Но, бывало, и кулаком по столу треснет, испытывая наслаждение и от враз заметавшихся глазёнок Тимохи, и от наступившей вдруг тишины в избе.

Лил в глиняные стаканы себе, Тимохе, и выплёскивалась самогонка в глотки мужиков незамедлительно. И уже Устин клонился к приятелю:

– Ты, варначья твоя душа, затем прибыл, чтоб нутро мне вывернуть? Не радуйся, а попомни моё слово: не быть ей за Сенькой, хоть, бл... натаскать успела от этого зарубинского отродья...

Матерился, скрипел зубами, но и тут умел совладать с собой.

Менялись на столе хозяйские яства, лилась рекой самогонка.

Засыпали тут же, за столом. И тогда уж в полный голос распускали языки бабы – обо всём, что было и не было в их деревнях, что было и не было в их семьях. Но если Матрёна могла позволить себе на чём свет стоит костерить своего Тимофея – мужика во всём ей покорного и бесхарактерного, то Ульяна больше говорила о прибытках хозяйственного порядка и о том, что Устин уж не тот, что в Афанасьеве, и что всего у неё в достатке – и шалей, и юбок, и кофт, и буднего, и праздничного.

– А счастья-то хватат? – наклонялась к приятельнице захмелевшая Матрёна. – Ласкат он тебя-то?.. Чё деток-то не заводите?..

Изводила, изгалялась. Портила заглянувший в душу Ульяны праздник. Насладившись своей бабьей извечной усладой – укорить в чём бы то ни было, говорила примирительно:

– И с ими, девка, тож мука. То пелёнки, то сопли, то одевай, то обувай, то жени, то замуж отдавай.

И заканчивала:

– Живёте – и живите себе. Добро в избе – тоже счастье.

И пели бабы песни, и полыхал медью и жаром на столе самовар.

Дня через два вслед за Дрянными собирался в Афанасьёво и Устин. Знала, зачем едет, молча подсобляла собираться, выходила за ворота и с каждым разом всё больше чувствовала, как усыхает в ней даже не женская гордость – человек усыхает.

Ни горести, ни вздоха, ни сожаленья.

...К туго завязанному житейскому узлу стремится живая русская женская душа: в счастье ли, несчастье ли, в горе ли, радости ли. Чего умом не постигнет – сердцем почувствует. Чего сердцем не почувствует, до того через дитя, рождённое в муках, дойдёт. Но всяким умом она хороша – большим ли, малым ли. Всяким сердцем чиста – полным ли любовью ответной или поруганным. Всякой статью. Во всякие года – молодые ли, зрелые, унёсшие ли жизнь за черту одряхления. И хотя у каждой своя молитва, своя дорога – и молитва об одном, и дорога к единому – к семейному очагу. До гробовой доски кладёт силы она, дабы огонь в очаге том не затухал. Ну а ежели огня и духом не бывало, души своей живой раскалённые угли подкладывает в тот очаг, пока не истратит последний. Тогда уж – конец. И жизни, и самой земле.

Допёк-таки Настасью Устин. Переехала к нему в начале июня, посадив в огороде картошку и всякую овощную мелочь – кто ж знает, как сложится жизнь с новым мужем и чем потом будешь жить.

На заимке Устиновой жила с ребятишками почитай два месяца. Отсеялись, приспело время косьбы.

С вечера отбивал Устин литовки, приспособившись подвешивать черенок к прибитой между берёзиной и стеной жилой избы жердине, на которой обычно висели телячьи и бараньи шкуры. Высокий звук ударов кривого молотка проникал через стены, тревожа душу Настасьи давними воспоминаниями о подготовке к покосу в родительском доме, а затем и в её собственной, образовавшейся с Семёном, семье.

Три года не слышала она этот звук, снося в пору сенокосную, пока была еще коровёнка, литовки к братке Гане. Теперь двигалась по избе, ловила слухом знакомый от рождения стук, никак не могла отделаться от привязливых своих дум.

В Заводе никто не выказал особого внимания к появлению новой хозяйки в избе Устина Брусникаина. Не до того было. Спиртовое производство с исчезновением неведомо куда исконного владельца Федора Акимовича Черемных – пришло в запустение, а Советы не торопились налаживать. И чем было питать то производство при всеобщей скудности? Картошки – себе бы нарыть, свёколка, та и вовсе вывелась – каждый норовил запастись на зиму чем посытнее. Мало приспособленный к земле народ здешний от века кормился от ведра произведенного в Заводе спирта. Корову, конечно, держал всякий. Лошадь, понятно, тоже имел. Огород на семью. Но заимок, как у родителей Ульяны, по пальцам одной руки сосчитать.

И откуда им взяться? Скальный берег реки Ии – с одной стороны. Невысокий, поросший ивняком и черемуховыми кустами берег речки Курзанки, впадающей в неё, – тут же. Со стороны Тулуна подпирают деляны опытной станции. Остается урочище Угуй – место ладное, на которое зарились и заводские.

Правда, после двух войн – германской и Гражданской – народу заметно поубавилось, хоть и старался сибирский мужик меньше влазить в братоубийственную свару. Но в первую брали не спрося, от второй убежать и того было труднее – убежишь разве от своего же соседа, ежели приспичило ему перекраситься в красный цвет и драть горло за мировую революцию? Такой скорей любого чужого придвинется с ножом к горлу – и коровёнку порешит, и лошадёнку со двора сведет.

Приглядываясь к хозяйству Устина, не могла поначалу надивиться, как это он скотину умудрился уберечь. Две дойных коровы, три телка, две лошади и вся к ним справа. Водилось и зерно, имелось пчелиных колод эдак с пяток.

Потихоньку-помаленьку голова приходила в ясность, глаза примечали недоброе.

Неспроста, видно, родитель посватал Устину Ульяну – дочь Полину. Ох неспроста... Всё вызнал, все просчитал. И разговор у хитрого Федота с сыном состоялся в своё время основательный. Не на девице красной женил, на наследстве, которому молодые руки жадного до богатства Устина были в самую пору.

Знал Федот и о зверском отношении сына к супруге. Знал, да помалкивал, кося глазом в сторону своей половины. Он и сам женился с соображением, и сам в молодости не щадил её даже при подрастающих детях. «Жена, что норовистая кобылица, – любил говаривать, – бей, ежели уросит, но пуще того, ежели не уросит... Наперед, чтоб не баловала...»

Поговаривали в Афанасьеве, что Федот связан не то с цыганами, не то ещё с кем. Основанием для того служили частые отъезды старшего Брусникина из деревни, особенно в базарные дни. Брал с собой старшего сына Павла, а однажды привёз его в санях подстреленным. Насмерть. Далеко слышно было, как голосила по сыну мать – поначалу от горя голосила, а потом и от науки Федотовой, чтобы не выкрикивала лишнего, поскольку Пелагея, забывшись, в причитаниях своих винила в смерти Павла самого Федота.

Поездки свои Брусникин стал совершать реже, но младшего своего, Устина, с собой уже не брал, желая, видно, поостеречь его от участи старшего сына.

С годами остарел и к началу германской выезды, можно сказать, бросил совсем, не заказав, однако, дорогу к жилищу своему сумрачному, не известному на деревне люду. То ли для схорону везли те люди к Федоту награбленное-наворованное – никто ведь не заглядывал в возки. То ли для совета. То ли ещё для чего. Но что везли – точно: видели люди, как носили в амбар поклажу. А с переездом Устина в Завод стали заезжать и туда – одно племя-то, брусникинское. Да и фамилия – Брусникины – как нельзя лучше к ним лепилась: с виду вроде люди, а копни глубже – звери. Короче, ягода не ягода – кровь алая, запёкшаяся...

И чего ездили – бог весть. Ездили при Ульяне, наехали тут на днях и при Настасье.

Незнакомые всё, но один – гривастый и безбородый – всё же встретался ей: видела его с племянницным дружкойм.

Собрала на стол, сам Устин припёр четверть самогону, а потом, отозвав её в куть, просительно выговорил:

– Ты бы, Настасьюшка, не глазела на нас, на мужиков, сходила бы куда, чё ли?..

Понятно, не хотят свидетелей иметь. Глянула на него исподлобья и вышла.

Заделье, конечно, найти можно было и во дворе, но вдруг впервые за эти, почитай, два месяца жизни с Устином заворочались пока мало понятные ей самой мстительные мысли в мозгу, так что присела на притулившуюся возле бани лавчонку и не шутя призадумкалась.

– Так-так-так... – пробормотала в конце концов и, будучи уверена, что её никто не видит, направилась к телеге, на которой приехали непрошеные гости.

– Так-так-так... – продолжала бормотать, шаря рукой под рогожиной.

Верёвка, топор, две культяпки обрезанных винтовок. Подскочил Петька.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.